

РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



ИОАНН АНТОНОВИЧ

Романовы. Династия в романах

А. Н. Сахаров (редактор)

Иоанн Антонович

Сахаров (редактор) А. Н.

Иоанн Антонович / А. Н. Сахаров (редактор) — — (Романовы.
Династия в романах)

<p id="AutBody_0DocRoot">Тринадцать месяцев подписывались указы именем императора Иоанна Антоновича... В борьбе за престолонаследие в России печальная участь постигла представителей Брауншвейгской фамилии. XVIII век – время дворцовых переворотов, могущественного фаворитизма, коварных интриг. Обладание царским скипетром сулило не только высшие блага, но и роковым образом могло оборвать человеческую жизнь. О событиях, приведших двухмесячного младенца на российский престол, о его трагической судьбе рассказывается в произведениях, составивших этот том. В том вошли: Е. П. Карнович "ЛЮБОВЬ И КОРОНА", Г. О. Данилевский «МИРОВИЧ», В. А. Соснора "ДВЕ МАСКИ"

Содержание

Е. П. Карнович	14
I	14
II	19
III	22
IV	26
V	30
VI	35
VII	39
VIII	43
IX	47
X	51
XI	55
XII	59
XIII	63
XIV	67
XV	70
XVI	74
XVII	78
XVIII	82
XIX	86
XX	90
XXI	93
XXII	97
XXIII	101
XXIV[82]	105
XXV	109
XXVI	113
XXVII	118
XXVIII	122
Конец ознакомительного фрагмента.	123

А. Сахаров (редактор) **ИОАНН АНТОНОВИЧ** *(Романовы. Династия в романах – 10)*

ИОАНН VI Антонович, иногда называют также Иоанн III (по счёту царей) – сын племянницы императрицы Анны Иоанновны, принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона Ульриха, родился 12 августа 1740 года и манифестом Анны Иоанновны (17 октября 1740 года). Иоанн был императором, а манифест 18 октября объявил о вручении регентства до совершеннолетия Иоанна, то есть до исполнения ему семнадцати лет, герцогу Курляндскому Бирону. По свержении Бирона Минихом (8 ноября) регентство перешло к Анне Леопольдовне, но уже ночью 25 декабря 1741 года правительница с мужем и детьми, в том числе и императором Иоанном, были арестованы во дворце Елизаветой Петровной, и последняя провозглашена была императрицей. Сперва она намерена была выслать низверженного императора со всей его за границу, и 12 декабря 1741 года они были отправлены из Петербурга в Ригу, под присмотром генерал-лейтенанта В. Ф. Салтыкова; но затем Елизавета переменила намерение и, не доехав до Риги, Салтыков получил предписание ехать как можно тише, задерживая под разными предлогами путешествие, а в Риге остановиться и ждать новых распоряжений. В Риге арестанты пробыли до 13 декабря 1742 года, когда они были перевезены в крепость Динамюнде. За это время у Елизаветы окончательно созрело решение не выпускать Иоанна и его родителей, как опасных претендентов, за пределы России. В январе 1744 года последовал указ о новом перевозе бывшей правительницы с, на этот раз в город Раненбург (ныне уездный город Рязанской губернии), исполнитель этого поручения, капитан-поручик Вындомский, едва не их в Оренбург. 27 июня 1744 года камергеру барону Н. А. Корфу предписано было указом императрицы отвезти семью царственных узников в Соловецкий монастырь, Иоанн как в течение этого путешествия, так и на время пребывания в Соловках должен был быть совершенно от своей семьи, и никто из посторонних не должен был иметь к нему доступа, кроме только специально приставленного к нему надсмотрщика. Корф арестантов, однако, только до Холмогор и, представив правительству всю трудность перевоза их на Соловки и содержания там в секрете, убедил оставить их в этом городе. Здесь Иоанн пробыл около 12 лет в полном одиночном заключении, отрезанный от всякого общения с людьми; единственным человеком, с которым он мог видеться, был наблюдавший за ним майор Миллер, в свою очередь почти возможности сообщения с другими лицами, стерегшими семью императора. Тем не менее слухи о пребывании Иоанна в Холмогорах распространялись, и правительство решило принять новые меры предосторожности. В начале 1756 года сержанту лейб-кампании Савину предписано было тайно вывезти Иоанна из Холмогор и секретно доставить в Шлиссельбург, а полковнику Вындомскому, главному приставу при Брауншвейгской семье, дан был указ: «Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, и строже и с прибавкою караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта; в кабинет наш и по отправлении арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали». В

Шлиссельбурге тайна должна была сохраняться не менее строго: сам комендант крепости не должен был знать, кто содержится в ней под именем «известного арестанта»; видеть Иоанна могли и знали его имя только три офицера стерегшей его команды; им запрещено было говорить Иоанну, где он находится; в крепость без указа Тайной канцелярии нельзя было впустить даже фельдмаршала. С воцарением Петра III положение Иоанна не улучшилось, а, скорее, изменилось к худшему, хотя и были толки о намерении Петра освободить узника. Инструкция, данная графом А. Л. Шуваловым главному приставу Иоанна (князю Чурмантееву), предписывала, между прочим: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою или плетью». В указе Петра III Чурмантееву от 1 января 1762 года повелевалось: «Буде, сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколь можно и арестанта живого в руки не давать». В инструкции, данной по восшествии на престол Екатерины Н. И. Паниным, которому доверен был главный надзор за содержанием шлиссельбургского узника, этот последний пункт был выражен яснее: «Ежели паче чаяния случится, чтоб кто с командою или один, хотя бы то был и комендант или иной какой офицер, без именного за собственноручным И.В. подписанием повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». По некоторым известиям, вслед за воцарением Екатерины, Бестужевым составлен был план брака с Иоанном. Верно то, что Екатерина в это время виделась с Иоанном и, как сама признала позже в манифесте, нашла его в уме. Сумасшедшим или, по крайней мере, легко теряющим душевное равновесие, изображали Иоанна и рапорты приставленных к нему офицеров. Однако Иоанн знал происхождение, несмотря на окружавшую его таинственность, и называл себя государем. Вопреки строгому запрещению чему бы то ни было его учить, он от кого-то научился грамоте, и тогда ему разрешено было читать Библию. Не сохранилась и тайна пребывания Иоанна в Шлиссельбурге, и это окончательно погубило его. Стоявший в гарнизоне крепости подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович вздумал освободить его и провозгласить императором; в ночь с 4 на 5 июля 1764 года он приступил к исполнению своего замысла, и, склонив с помощью подложных манифестов на свою сторону гарнизонных солдат, арестовал коменданта крепости Бердникова и потребовал выдачи Иоанна. Пристав сперва сопротивлялся с помощью своей команды, но, когда Мирович на крепость пушку, сдался, предварительно, по точному смыслу инструкции, убив Иоанна. После тщательного следствия, обнаружившего полное отсутствие сообщников у Мировича, последний был в правление Елизаветы и ближайших преемников самое имя Иоанна подвергалось гонению: печати его царствования переделывались, монета переливалась, все деловые бумаги с именем императора Иоанна предписано было собрать и выслать в Сенат; манифесты, присяжные листы, церковные книги, формы поминовения особ императорского дома в церквах, проповеди и паспорта велено было сжечь, остальные дела хранить за печатью и при справках с ними не употреблять титула и имени Иоанна, откуда явилось

название этих документов «делами с известным титулом». Лишь высочайше 19 августа 1762 года доклад Сената остановил дальнейшее истребление дел времени Иоанна, грозившее нарушением интересов частных лиц. В последнее время сохранившиеся документы были частью изданы целиком, частью обработаны в издании московского архива министерства юстиции.

Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона,

т. XIII, СПб., 1894.

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА, правительница Российской империи, родилась в Ростоке 7 декабря 1718 года от герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда и супруги его Екатерины Иоанновны (внучки царя Алексея Михайловича), была крещена по обряду протестантской церкви и названа Елисаветой Екатериной Христиной. Молодая Елисавета недолго оставалась при отце. Грубый, деспотичный нрав герцога принудил Екатерину Иоанновну покинуть мужа и вместе с дочерью возвратиться в Россию в 1722 году. Родители Елисаветы едва ли особенно заботились о её воспитании. На это воспитание, по-видимому, обращено было некоторое внимание лишь по воцарении младшей сестры герцогини Екатерины – Анны Иоанновны, когда снова возник вопрос о престолонаследии. Анна Иоанновна, как известно, не имела прямых наследников; для того, чтобы оставить после себя законных преемников, императрица, по совету графа Остермана, графа Левенвольда и Феофана Прокоповича, выразила намерение назначить наследником престола кого-либо из будущих детей молодой племянницы своей Елисаветы. Это намерение сразу придало Елисавете особенное значение при дворе. Феофану Прокоповичу поручено было наставлять её в православной вере, а 12 мая 1733 года Елисавета приняла православие и названа Анной в честь императрицы. Анна Иоанновна заботилась не только о духовном, но и о светском воспитании племянницы. Для этих целей она избрала ей в наставницы госпожу Адеркас – женщину умную и опытную, не оказавшую, однако, благотворного влияния на духовное развитие своей воспитанницы; есть также упоминание об учителе принцессы, Геннингере. Но плохое воспитание, данное принцессе Анне, не мешало императрице думать о выдаче её замуж. Выбор первоначально пал на марк-графа Бранденбургского Карла, родственника короля Прусского. Уже начались переговоры по этому делу; но встревоженный венский двор поручил фельдмаршалу Секендорфу, находившемуся тогда в Берлине, всеми мерами воспрепятствовать успешному исходу таких переговоров. Секендорф действовал настолько удачно, что дело расстроилось, и из Вены последовало предложение выбрать в женихи принцессе Анне принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского, племянника императрицы Римской. Предложение не было отвергнуто, и молодой принц приехал в Петербург в феврале 1733 года. Хотя принц и не понравился Анне Леопольдовне, тем не менее ей пришлось считать его своим женихом. А между тем естественное чувство влекло её в другую страну. Ей особенно нравился молодой, красивый граф Карл Мориц Линар, посланник саксонский. Госпожа Адеркас не только не препятствовала, но прямо благоприятствовала сношениям своей воспитанницы с ловким графом. Интрига обнаружилась летом 1735 года, и госпожа Адеркас потеряла место, а граф Линар был отослан под благовидным предлогом обратно к саксонскому двору. Принцессу, тем не менее, через

четыре года выдали замуж за принца Антона; 3 июля 1739 года пышно отпразднована была эта свадьба, а через 13 месяцев (12 августа 1740 года) у молодых супругов родился сын Иоанн.

В это время здоровье императрицы уже стало внушать серьёзные опасения. Возникал вопрос о том, кому поручить управление государством. Манифестом 5 октября 1740 года государыня «определила в законные после себя наследники внука своего принца Иоанна». Но до совершеннолетия принца необходимо было назначить регента. Вопрос официально оставался нерешённым почти до самого дня кончины императрицы. Лишь 16 октября, за день до смерти, Анна Иоанновна регентом назначила Бирона. Манифест 17 октября 1740 года, извещавший о кончине императрицы Анны Иоанновны, давал знать, что, согласно воле покойной, утверждённой её собственноручной подписью, империя должна быть управляема по особому уставу и определению, которые изложены будут в указе правительствующего Сената. Действительно, 18 октября обнародован был указ, которым герцог Бирон, согласно воле императрицы, назначался регентом до совершеннолетия принца Иоанна и, таким образом, получал «мочь и власть управлять всеми государственными делами как внутренними, так и иностранными».

Хотя назначению Бирона в регенты способствовали важнейшие придворные чины и сановники государства (А. Л. Бестужев-Рюмин, фельдмаршал Миних, канцлер князь Черкасский, адмирал граф Головкин, действительный тайный советник князь Трубецкой, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-поручик Салтыков, гофмаршал Шепелев и генерал Ушаков), тем не менее сам Бирон сознавал всю шаткость своего положения. Регент поэтому начал своё управление рядом милостей: издан был манифест о строгом соблюдении законов и суде правом, сбавлен подушный оклад 1740 года на 17 копеек, освобождены от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам: воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государевой. В то же время сделано было распоряжение для ограничения роскоши в придворном быту: запрещено носить платья дороже четырёх рублей аршин. Наконец, дарованы милости отдельным лицам: князю А. Черкасскому возвращён камергерский чин и дозволено жить, где захочет, В. Тредьяковскому выдано 360 рублей из конфискованного имения А. Вольнского.

Все эти милости показывали, что и сам Бирон далеко не был уверен в прочности своего положения, а эта неуверенность, разумеется, ещё более возбуждала против него общественное мнение. В гвардии послышались недовольные голоса П. Ханькова, М. Аргамакова, князей И. Путятина, Алфимова и других. Явились доносы на секретаря конторы принцессы Анны М. Семёнова и на адъютанта принца Антона Ульриха, П. Граматина. Движение это было тем опаснее для Бирона, что недовольные не только отрицали права герцога на регентство, но прямо задавали вопрос, почему же регентами не назначены были родители молодого принца? Естественно поэтому, что центрами этого движения против регента были принц Антон, а затем и сама Анна Леопольдовна. Ещё за 11 дней до смерти императрицы подполковник Пустошкин, узнав о назначении принца Иоанна наследником, проводил мысль, что от российского шляхетства надобно подать государыне челобитную о том, чтобы принцу Антону быть регентом. Хотя попытка Пустошкина не удалась, принц Антон тем не менее стремился переменить

постановление о регентстве и по этому поводу обращался за советом к Остерману и Кейзерлингу, а также находил поддержку и сочувствие в вышеназванных представителях гвардии. Испуганный Бирон велел арестовать главных его приверженцев, а в торжественном собрании Кабинета министров, сенаторов и генералитета 23 октября заставил Антона Ульриха, наравне с другими, подписать распоряжение покойной императрицы о регентстве, а через несколько дней принудил принца отказаться от военных чинов. Самой гвардии грозил также разгром: Бирон поговаривал о том, что рядовых солдат дворянского происхождения можно определить офицерами в армейские полки, а места их занять людьми простого происхождения. Таким образом, и эта попытка сделать принца Брауншвейгского регентом окончилась неудачей. Но, кроме принца Антона, во всяком случае, не менее законные притязания на регентство могла иметь Анна Леопольдовна. Слишком слабая и нерешительная для того, чтобы самой осуществить эти притязания, принцесса нашла себе защитника в лице графа Миниха. Честолюбивый и решительный фельдмаршал рассчитывал, что в случае удачи он займёт первенствующее положение в государстве, и поэтому немедленно взялся за дело. 7 ноября Анна Леопольдовна жаловалась фельдмаршалу на своё безвыходное положение, а в ночь с 8 на 9, с согласия принцессы, он, вместе с Манштейном и 80 солдатами своего полка, арестовал регента, ближайших его родственников и приверженцев. Самого герцога особая комиссия приговорила даже к смертной казни, 8 апреля 1740 года, а Бестужева – к четвертованию, 27 января 1741 года. Наказания эти, однако, смягчены: Бирон был сослан в Пелым, Бестужев – в отцовскую пошехонскую деревню на жительство без выезда.

Таким образом, 9 ноября, по низвержении Бирона, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей. Странно было видеть бразды правления в руках доброй, но ленивой и беспечной внучки царя Иоанна Алексеевича. Плохое воспитание, какое она получила в детстве, не вселило в неё потребности к духовной деятельности, а при полном отсутствии энергии жизнь принцессы превращалась в мирное прозябание. Время она проводила большей частью лёжа на софе или в карточной игре. Одета в простое спальное платье и повязав непричёсанную голову белым платком, Анна Леопольдовна нередко «по несколько дней сряду сидела во внутренних покоях, часто надолго оставляя без всякого решения важнейшие дела, и допускала к себе лишь немногих друзей и родственников любимицы своей фрейлины Менгден, или некоторых иностранных министров, которых она приглашала к себе для карточной игры». Единственной живой струёй в этой затхлой атмосфере была прежняя привязанность правительницы к графу Линару. Он снова послан был в Петербург в 1841 году королём Польским и курфюрстом Саксонским для того, чтобы вместе с австрийским послом Боттой склонить правительницу к союзу с Австрией. Для того, чтобы удержать Линара при дворе, Анна Леопольдовна дала ему обер-камергерский чин и задумала женить его на своей любимице Менгден. Ввиду этой женитьбы Линар поехал в Дрезден просить об отставке, получил её и уже возвращался в Петербург, когда в Кенигсберге узнал о низвержении правительницы.

Анна Леопольдовна, как видно, неспособна была к управлению. Расчёты Миниха, казалось, оправдались. 11 ноября вышел указ, по которому генералиссимусом назначался принц Антон, но «по нём первому в империи велено быть» графу Миниху; в то же время графу Остерману пожалован был

чин генерал-адмирала, князю Черкасскому – чин великого канцлера, графу Головкину – чин вице-канцлера и кабинет-министра. Таким образом, Миних стал заведовать почти всеми делами внутреннего управления и внешней политики. Но это продолжалось недолго. Указом 11 ноября многие остались недовольны. Недоволен был принц Антон, которому чин генералиссимуса, по словам самого указа, будто бы уступил Миних, хотя и имел на него право; недоволен был Остерман, ибо приходилось подчиняться сопернику, малознакомому с тонкостями дипломатии; недоволен был, наконец, и граф Головкин тем, что ему нельзя было самостоятельно управлять внутренними делами. Враги воспользовались болезнью фельдмаршала для того, чтобы склонить правительницу к ограничению власти Миниха. В январе 1741 года Миниху велено было сноситься с генералиссимусом обо всех делах, а 28 числа того же месяца поручено заведовать сухопутной армией, артиллерией, фортификацией, кадетским корпусом и Ладожским каналом. Управление внешней политикой снова передано Остерману, внутренними делами – князю Черкасскому и графу Головкину. Раздосадованный Миних подал прошение об отставке: к великому его горю это прошение было принято. Старый фельдмаршал уволен был «от военных и статских дел» указом 3 марта 1741 года. Немало способствовал такому исходу дела хитрый Остерман, который на время и получил первенствующее значение. Но и ловкому дипломату, благополучно пережившему столько дворцовых переворотов, трудно было лавировать среди враждовавших придворных партий. Семейная жизнь принца и принцессы не отличалась особенным миролюбием. Быть может, отношения Анны Леопольдовны к графу с одной стороны, а с другой та досада, с какой принц Антон смотрел на неотразимое влияние, оказываемое фрейлиной Ю. Менгден на правительницу, – служили причинами разногласия между супругами. Разногласие это длилось иногда по целой неделе. Им злоупотребляли министры для собственных целей. Граф Остерман пользовался доверием принца. Этого было достаточно для того, чтобы граф Головкин, враг Остермана, оказался на стороне правительницы, которая иногда поручала ему весьма важные дела без ведома супруга и графа Остермана.

При малоспособности лиц, стоявших во главе управления, и борьбе министров нечего было ожидать особенно богатой результатами внешней и внутренней политики. Из внутренних распоряжений в правление Анны Леопольдовны, в сущности, замечателен один «регламент или работные регулы на суконные и каразейные фабрики, состоявшийся по докладу учреждённой для рассмотрения о суконных фабриках комиссии». Вопрос этот возбуждён был по ходатайству Миниха в 1740 году; 27 января того же года для ознакомления с фабричным бытом и составления проекта нового законодательства по фабричной части назначена была особая комиссия. Выработанный ею проект законодательного акта касательно суконных и каразейных фабрик принят правительством почти без всяких изменений и издан в виде указа 2 сентября 1741 года. Регламент содержал постановления относительно фабричного производства; так, например, фабричные машины и все приспособления должны были находиться в порядке, материал, потребный для производства, надо было заготавливать заблаговременно, сукна следовало выделять определённых размеров и качества. Фабриканты не имели права рабочих заставлять работать свыше указанной регламентом нормы (15 часов),

и должны были выдавать рабочим известное жалованье (например, от 18 до 50 рублей в год), могли наказывать провинившихся даже телесными наказаниями, за исключением разве слишком тяжёлых, как кнута и ссылки на каторжные работы. Фабриканты должны были держать госпитали при фабриках, а в случае успешного производства наравне с мастерами получали поощрительные премии. Кроме этого указа никаких важных внутренних распоряжений при Анне Леопольдовне, по-видимому, не было сделано.

Это отчасти разъясняется тем, что внимание правительства обращено было, главным образом, на внешнюю политику. 20 октября 1740 года умер император Карл VI без прямых наследников. Фридрих II, получивший от отца богатую казну и хорошее войско, воспользовался затруднительным положением Австрии для того, чтобы захватить большую часть Силезии. Мария-Терезия обратилась поэтому к державам, гарантировавшим Прагматическую санкцию, но немедленной помощи ниоткуда не последовало. Решение этого вопроса зависело, главным образом, от той политики, какой будут держаться Франция и Россия. Задача французской политики ясно была поставлена ещё в XVII веке. Эта политика направлена была к раздроблению Германии, что обусловлено было, главным образом, ослаблением Габсбургского дома. Для этих целей и в данном случае Франция поддерживала дружеские сношения с Пруссией и интриговала в Порте и Швеции против России для того, чтобы помешать её вмешательству во враждебные отношения Фридриха II с Марией-Терезией, вмешательству, которое, как предполагали французские дипломаты, должно было, конечно, иметь в виду выгоды Австрии. Но предположения французских дипломатов оказались не совсем верными. Сильным приверженцем союза с королём Прусским был Миних. Он помнил те неприятности, какие ему лично, да и самой России, оказывала австрийская политика во время турецких войн прошлого царствования, и поэтому настаивал на союзе с Пруссией. Несмотря на то, что сама правительница и принц Антон предпочитали союз с Австрией, фельдмаршалу удалось настоять на своём. Уже 20 января король проявлял своё удовольствие о заключении договора между Россией и Пруссией. Но при заключении такого договора русское правительство не прекратило дружеских сношений с австрийским двором и оказалось, таким образом, в союзе с двумя враждовавшими соседями. Положение это осложнилось ещё враждебными отношениями к Швеции. Благодаря французскому золоту, Швеция получила возможность улучшить вооружение армии; в то же время шведская молодёжь, рассчитывая на слабость правительства Анны Леопольдовны, надеялась отнять Выборг. 28 июля шведский надворный канцлер выразил М. Л. Бестужеву в Стокгольме решимость короля объявить войну, а 13 августа 1741 года по этому же поводу издан был манифест от имени императора Иоанна. Главным начальником шведского войска в Финляндии назначен был граф Левенгаупт, главнокомандующим русских войск – Ласси. Единственно важным делом этой войны было взятие Вильманстранда русскими войсками (23 августа), причём шведский генерал Врангель со многими офицерами и солдатами попал в плен. Война эта закончилась в пользу России уже при императрице Елисавете Абосским миром.

Итак, о мире после шведской войны заботилось уже новое правительство, правительство императрицы Елисаветы Петровны. Переворота можно было ожидать давно. Уже при избрании Анны Иоанновны

слышались глухие намёки о правах Елисаветы Петровны на престол всероссийский. При императрице Анне, дочь Петра находилась под своего рода политическим надзором, должна была жить тихо и скромно. По смерти Анны Иоанновны недовольные регентством Бирона высказывались не только в пользу Брауншвейгской фамилии, но и в пользу Елисаветы (капрал Хлопов, матрос Толстой), причём эти лица ближе стояли к народу, чем придворные, защищавшие права принца Антона и его супруги. Дочь Петра, конечно, пользовалась большею народною любовью, чем Анна Леопольдовна, отличалась ласковым обращением и щедростью, которые привлекали многих, недовольных слабым правлением принцессы Анны и вечными раздорами министров. К действию внутренних причин примешались и интересы иностранной дипломатии. Франция надеялась на помощь будущей императрицы против Габсбургского дома, Швеция рассчитывала на уступку с её стороны некоторых из захваченных Петром Великим владений и даже объявила войну правительнице в расчёте на ближайший переворот. Елисавета Петровна воспользовалась всеми этими благоприятными условиями. Она успела составить себе партию (маркиз де ла Шетарди, хирург Лесток, камер-юнкер Воронцов, бывший музыкант Шварц и др.) и поспешила осуществить своё предприятие под влиянием тех подозрений, какие возымел двор. Правительница даже получила из Бреславля письмо, в котором прямо намекали на предприятия Елисаветы и советовали арестовать Лестока; поэтому 24 ноября издан был указ о том, что гвардия, преданная Елисавете, должна выступить в Финляндию против шведов. Узнав об этом, Елисавета Петровна решилась действовать. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года она вместе с несколькими преображенцами явилась во дворец и захватила правительницу с семейством. Вслед за тем арестованы были Миних, Остерман, вице-канцлер граф Головкин. Утром 25 ноября всё было кончено и издан манифест о восшествии на престол императрицы Елисаветы.

Таким образом, намерение Анны Леопольдовны провозгласить себя императрицей осталось неосуществлённым. После переворота 25 ноября императрица Елисавета первоначально думала отправить её вместе с семейством за границу; намерение это выражено в манифесте 28 ноября 1741 года. Брауншвейгская фамилия действительно отправлена была 12 декабря по пути в Ригу и прибыла сюда 2 января 1742 года. Но попытка камер-лакея А. Гурчанинова убить императрицу и герцога Голштинского, предпринятая в пользу Ивана Антоновича, а также интриги маркиза Ботты, подполковника Лопухина и других, интриги, имевшие в виду ту же цель, наконец советы Лестока и Шетарди арестовать Брауншвейгскую фамилию заставили Елисавету Петровну изменить своё решение. Уже по прибытии в Ригу принц Антон с женой и детьми (Иоанном и Екатериной) содержались под арестом. 13 декабря 1742 года Брауншвейгская фамилия переведена была из Риги в Дюнамюнде, где у Анны Леопольдовны родилась дочь Елисавета, а из Дюнамюнде в январе 1744 года препровождена была в Раненбург (Рязанской губернии); вскоре затем, 27 июля того же года, вышел указ о перемещении принца Антона с семейством в Архангельск, а оттуда в Соловецкий монастырь. Дело это поручено было барону Н. А. Корфу. Несмотря на беременность Анны Леопольдовны, осенью 1744 года, брауншвейгская семья должна была отправиться в далёкий и тяжёлый путь. Путь этот особенно был для Анны Леопольдовны, так как она, кроме болезни, испытала большое

горе: ей пришлось расстаться с фрейлиной Менгден, которая до Раненбурга сопровождала её всюду. Но путешествие не было окончено. Барон Корф остановился в Шенкурске за невозможностью в это время года продолжать путь и поместил Брауншвейгскую фамилию в холмогорском архиерейском доме. Барон настаивал на том, чтобы здесь и оставить заключённых, не перевозить их далее в Соловки. Его предложение было принято. Указом 29 марта 1745 года Корфу разрешено возвратиться ко двору и сдать арестантов капитану Измайловского полка Гурьеву.

Сохранился рисунок места заключения Брауншвейгской семьи. На пространстве шагов в четырёхста длиною, шириною столько же, стоят три дома и церковь с башней; тут же находятся пруд и что-то похожее на сад. От невзрачного жилья, запущенного двора и сада, которые сдавила высокая деревянная ограда с воротами, вечно запертыми тяжёлыми железными, веет уединением, скукой, унынием... Здесь в тесном заключении жили принц Антон и принцесса Анна с детьми, без всяких сношений с остальным живым миром. Пища была нередко плохая, солдаты обращались грубо. Через несколько месяцев после приезда состав семьи увеличился. У Анны Леопольдовны 19 марта 1745 года родился сын Пётр, а 27 февраля 1746 года сын Алексей. Но вскоре после родов, 7 марта, Анна Леопольдовна умерла от родильной горячки, хотя в объявлении о её кончине для того, чтобы скрыть рождение принцев Петра и Алексея, и сказано было, что она «скончалась огневицею». Погребение Анны Леопольдовны происходило публично и довольно торжественно. Всякому дозволено было приходить прощаться с бывшей правительницей. Самое погребение совершено было в Александро-Невской лавре, где погребена была и Екатерина Иоанновна. Сама императрица распорядилась похоронами.

Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона,

т. IБ СПб., 1890.

Е. П. Карнович
ЛЮБОВЬ И КОРОНА
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ИЗ
ВРЕМЁН ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ
ИВАНОВНЫ И РЕГЕНТСТВА
ПРИНЦЕССЫ АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ

I

С лишком сто сорок лет тому назад, по дороге между Стрельною и Петергофом, в местности в ту пору ещё глухой и безлюдной, стоял небольшой деревянный дом. Он был расположен на возвышении, от которого шёл пологий спуск, поросший густой травой и примыкавший к красивому, обширному лугу, омываемому взморьем. С виду дом этот не отличался ничем особенным от обыкновенных городских и помещичьих построек того времени. Около него не было видно ни следов искусства, ни затейливой отделки окружавшей его дикой местности, так как владельцам дома, по суровости северного климата, казались странными и даже смешными какие-либо затраты на внешние, только летние украшения их местопребывания. Зато внутреннее расположение, отделка и убранство этого дома говорили о том, что в нём жили люди, привыкшие к большим удобствам домашнего быта, нежели те, с какими были знакомы тогдашние русские, хотя бы и владевшие значительным состоянием. И в самом деле, в этот удобно устроенный небольшой дом переселялись для житья на короткое петербургское лето супруги-иностранцы, постоянно проживавшие в Петербурге. Пользоваться летом чистым загородным воздухом им, впрочем, особой надобности не представлялось, так как и сама столица была ещё в ту пору, собственно, большой деревней, и в ней легко было найти такие околотки¹, в которых можно было наслаждаться и сельским простором, и ничем не стесняемым привольем. Не этого, впрочем, желали обитатели загородного дома, нами описанного: они искали полного уединения, надеясь совершенно избавиться от стеснений, неизбежно сопровождающих пребывание в обществе и в особенности при дворе. Более же всего им хотелось отделаться хоть на некоторое время от непрерывного докучливого посещения разных непрошенных и неожиданных гостей, так как в ту пору, к которой относится наш рассказ, радушный приём знакомых каждый день считался одним из главных условий общественной жизни в Петербурге.

Загородный дом, о котором идёт речь, был уютен и вместителен; в нижнем этаже была небольшая зала, две приёмные, спальни – одна для хозяев и четыре на случай приезда гостей из города. Кабинет домовладельца помещался в мезонине; столы в кабинете были завалены бумагами, счетами и конторскими книгами, а передняя была заставлена шкафами и ящиками, наполненными книгами и ландкартами². Всё это свидетельствовало о деловых и разнообразных занятиях хозяина дома. Хотя убранство дома и не отличалось вовсе роскошью, но зато порядок и чистоту можно было назвать образцовыми, и эти признаки домашнего благоустройства составляли резкую противоположность тому, что встречалось обыкновенно в домах тогдашних даже самых богатых и знатных петербургских бар.

¹ ...легко было найти такие околотки... – то есть соседнюю местность, окрестности.

² ...наполненные книгами и ландкартами. – То есть географическими картами...

Верстах семи от этого дома был Петергоф, где в те годы двор проводил большую часть лета. В Петергофе и тогда был уже большой сад с великолепными фонтанами и водомётами; но дворец представлял невзрачное здание с низкими и маленькими комнатами, в которых, впрочем, было много хороших, но испортившихся картин вследствие небрежного за ними присмотра. Кроме дворца в Петергофе были уже построены два хорошеньких домика, называвшихся Марли и Монплеизир; этот последний был отделан ещё Петром Великим в голландском вкусе; а на берегу канала, проведённого от дворца к взморью, стояло несколько домиков, занимаемых на лето лицами, бывшими близкими ко двору.

Неотдалённость двора не особенно, впрочем, беспокоила наших дачников, желавших уединиться от большого света. Государыня проводила время в Петергофе на деревенский образец, и потому ежедневных собраний у неё в эту пору не было, а давались только, да и то изредка, празднества по какому-нибудь особенному торжественному случаю.

Стоял жаркий июньский день, и хозяйка загородного дома, женщина лет тридцати пяти, не красавица собою, но с приятным и умным лицом британского типа, видимо, поджидала к себе кого-то в гости. По временам она выглядывала в растворённое окно по направлению дороги к Петергофу и, увидев ехавший оттуда большой экипаж, вышла на крыльцо, чтобы встретить подъезжавших гостей. Спустя немного времени к крыльцу подъехала тяжёлая громадная, с зеркальными стёклами, карета, окрашенная желтовато-золотистой краской. На ярком фоне этой краски были рукой искусного живописца изображены зелень, цветы, виноградные листья и гроздья, арабески³ и купидоны, а на дверцах кареты виднелись большие чёрные двуглавые орлы. Вдобавок к этим геральдическим украшениям и зелёные с золотым галуном ливреи двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, указывали, что приехавшая с такою обстановкой из Петергофа гостья занимала не последнее место в придворном штате императрицы Анны Ивановны⁴.

Проворно соскочившие с запяток гайдуки высадили из кареты довольно уже пожилую даму, отличавшуюся величавой осанкой и сохранившую ещё следы прежней, по всей вероятности, замечательной красоты. Несмотря на летний зной и на загородную поездку, приехавшая гостья, придерживаясь правил тогдашнего придворного этикета, была одета по-городскому. На ней было тяжёлое шёлковое платье, обложенное по корсажу и по подолу широким золотым позументом; волосы её, обращённые в высокую модную причёску, были напудрены. В руке, обтянутой лайковой перчаткой с длинной шёлковой бахромой, она держала огромный веер.

Хозяйка дома приняла знатную гостью не с холодным официальным почётом, но с тем радушным дружеским уважением, каким обыкновенно пользуются люди, внушающие к себе расположение своими собственными личными качествами.

После обычных приветствий и расспросов гостья о муже хозяйки дома, который, как оказалось, уехал ещё со вчерашнего вечера в город по своим делам и ещё не возвращался оттуда, между хозяйкой и гостьей начался, частью на английском, частью на французском языке, обычный и в ту пору разговор о погоде и знакомых. Разговор обо всём этом стал, по-видимому, истощаться, когда хозяйка обратилась к своей гостье с вопросом:

– А что подельывает ваша принцесса? – сказала хозяйка.

– Моя принцесса? – переспросила гостья, боязливо осматриваясь кругом.

– Да, – не без некоторой настойчивости подтвердила хозяйка.

– Она... – замялась приезжая дама.

– Извините меня за этот вопрос, но я обращаюсь к вам с ним не из одного пустого любопытства. Я понимаю очень хорошо, что вы затрудняетесь в обществе рассказывать о том, что

³ Арабеска – особый вид орнамента, состоящего из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п.

⁴ Анна Ивановна (Иоанновна; 1693—1740), дочь царя Ивана V и Прасковьи Фёдоровны, герцогиня Курляндская с 1710 г., российская императрица с 1730 г.

делается у вас при дворе... Здесь страна сильно развитого шпионства⁵, и осторожность ваша вполне благоразумна, – сказала хозяйка, вставая с кресла и заглядывая в смежную комнату, как будто опасаясь, нет ли там какого-нибудь свидетеля их разговора, хотя, как казалось, уже тот язык, на котором они вели его, достаточно мог обеспечивать собеседниц от подслушивания их речей агентом тайной канцелярии.

– По моей привязанности и дружбе к вам, – продолжала хозяйка, садясь на прежнее место, – я хотела даже нарочно приехать к вам в Петергоф, но боялась возбудить подозрение и подать повод к пустым толкам. Я хотела видиться с вами, чтобы передать вам об одном дошедшем до меня слухе, выдуманном, конечно, злыми языками...

– О каком? – встrepенувшись, спросила гостья.

– Говорят, граф Линар⁶...

– Граф Линар?.. О, это пустая детская забава. Надобно чем-нибудь развлечь бедную девушку. Вы знаете, миледи, очень хорошо всю обстановку здешнего двора, тяжёлый и суровый нрав императрицы, подозрительность герцога и, конечно, имеете общее понятие о характере моей воспитанницы. Её надобно чем-нибудь оживить в те годы, когда грёзы и мечты начинают тревожить воображение девушки. Мы сами женщины и должны помнить наше прошлое. Принцесса постоянно грустит, скушает, задумывается, и я боюсь, что характер её совершенно испортится, а между тем кто знает, – добавила гостья, ещё более понизив голос, – какой высокий жребий ожидает её и, быть может, даже в недалёком будущем... Здоровье императрицы, говоря между нами, несмотря на её могучую натуру, стало не слишком надёжно. Об этом, конечно, не позволяют говорить теперь, и что она была больна, – о том объявят разве только после её кончины... Но откровенность за откровенность; меня чрезвычайно удивляет, откуда вы могли узнать то, что я считаю непроницаемой тайной, скажите, от кого вы слышали насчёт графа Линара...

– Доверяя вам вполне, я не буду делать из моего ответа на ваш вопрос никакой тайны перед вами. О том, что принцесса Анна⁷ с некоторого времени занята графом Линаром или, сказать прямее, страстно влюблена в него, говорил мне вчера мой муж и поручил поскорее передать вам об этом слухе, дошедшем до него совершенно случайно.

– О, милый и любезный баронет! Недаром же он слывёт в Петербурге самым сметливым и проницательным дипломатом. От наблюдений его не ускользают даже сердечные дела, имеющие, впрочем, иной раз большое влияние и на политические события. Но «un homme prevenu en vaut deux», говорят его соотечественники, и это в большей части случаев бывает совершенно верно. Я очень благодарна баронету за его внимание и за откровенность, но посудите сами, миледи, о моём затруднительном положении. Я иностранка без всяких личных и родственных связей при здешнем дворе, попавшая случайно в наставницы и руководительницы, быть может, будущей русской самодержицы⁸. Я волей-неволей поставлена в необходимость угождать ей, заискивать её расположение, её дружбу, и вот почему с моей стороны приходится допускать некоторую, хотя, по-видимому, и не слишком уместную снисходительность. Впрочем, в настоящем случае, скажу вам, миледи, нет решительно ничего серьёзного и не может быть ничего опасного для принцессы. Любовь её к графу Линару не более как пустая шалость, как маленькое развлечение для бедной девушки, которую хотят выдать замуж насильно не только за нелюбимого, но даже за презираемого ею человека...

⁵ Здесь страна сильно развитого шпионства... – О том же сообщается в «Записках» Миниха-младшего: «... Ни при едином дворе, статья может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском».

⁶ Граф Линар – польский посланник, с апреля 1733 по декабрь 1736 г. Выслан из России по просьбе русского Двора.

⁷ Анна Леопольдовна (Елизавета-Христина; 1718—1746), дочь герцога Мекленбургского Карла-Леопольда и царевны Екатерины Ивановны, правительница России при Иване VI Антоновиче в 1740—1741 гг.

⁸ Речь идёт о гувернантке Анны Леопольдовны г-же Адеркас, уроженке Пруссии.

– Да, этот брак, как кажется, не предвещает ничего хорошего в будущем. Теперь принцесса ещё очень робка, но нельзя сказать, что из неё будет потом; нынешнее же её положение весьма незавидно. Она прежде всего жертва политических соображений и холодных расчётов, которые, однако, как известно, не всегда благополучно сводятся к концу. Принцесса живёт во дворе императрицы на правах родной дочери; на неё смотрят теперь, как на наследницу русского императорского престола. Какая великая будущность для скромной немецкой принцессы! Но в то же время, как сурово обходятся с ней, а между тем она теперь уже в таком возрасте, что могла бы пользоваться некоторой свободой и заявить себя чем-нибудь, тем более что благодаря вам её воспитывали с большой заботой. Жаль, впрочем, что в ней нет ни особенной красоты, ни грации и что до сих пор она не выказала никакого блестящего качества.

– Это справедливо, но зато в сущности принцесса – доброе создание, хотя, говоря по правде, она вовсе не рождена для короны. Она, кажется, была бы гораздо счастливее в скромной обстановке с человеком, которому предалась бы от всего сердца. Какая, однако, резкая разница между ею и цесаревной Елизаветой⁹...

– Что за прелесть Елизавета! – почти вскрикнула в восторге хозяйка. – Вот красавица так красавица: бела необыкновенно, прекрасные волосы, большие и живые глаза, хорошенький ротик, зубы как жемчуг. Хотя она, как кажется, и расположена к полноте, но зато как стройна она теперь! Как хорошо она танцует! Я никогда и нигде ещё не видела, чтобы какая-нибудь из женщин могла сравниться с нею в ловкости и грациозности. Образованием её также, по видимому, не пренебрегли: она говорит по-французски, по-итальянски и по-немецки. А какой у неё весёлый характер, как она обходится с каждым и ласково, и вежливо и как она ненавидит все натянутые придворные церемонии...

– Да, она очаровательная женщина, но я думаю, что на такой хорошенькой и ветреной головке едва ли долго удержался бы тяжёлый царский венец, – заметила гостя, отрицательно покачивая головой.

– О, ваша принцесса держит себя совсем иначе: она не по летам степенна, говорит вообще мало и, как мне передавали, никогда будто бы не смеётся. Это мне кажется, впрочем, неестественным в такой молодой девушке и происходит, по моему мнению, – прошу извинить, я, вероятно, ошибаюсь, – скорее от тупости, нежели от рассудительности.

– В этом случае я с вами не совсем согласна, миледи, – вежливо возразила гостя. – Принцесса Анна в свои годы довольно умна, но только по её характеру, несмотря на её серьёзный вид, она ещё совершенный ребёнок: она вспыльчива, капризна и, главное, изумительно беспечна. От этих недостатков теперь едва ли возможно отучить её, тем более что все обстоятельства её жизни до сих пор складывались так, что могли развить в ней скорее дурные стороны, нежели хорошие качества. Насколько я могла убедиться, в ней есть одна отличительная черта: она под равнодушной холодной наружностью скрывает сердце, способное пламенно любить. Покойная герцогиня Мекленбургская много виновата в том, что в малолетство своей дочери не заботилась о её воспитании, а направить её в ту пору на хорошую дорогу было бы не слишком трудно. В ней всё-таки есть много хороших задатков. Наружность её, правда, не отличается особенной красотой, но зато она чрезвычайно статна, и редко можно встретить девушку с такой гибкой и стройной талией. Заметьте, что она вообще небрежна в своём наряде, и для неё надеть корсет и причесать волосы по моде – истинное мучение. Я с ней постоянно ссорюсь из-за этого. Скажу ещё вам, что некоторые, как, например, молодой граф Миних¹⁰, находят её даже красавицей, но зато многим не нравится её всегда задумчивый и печальный вид, а у нас в Германии существует поверье, что такое постоянное выражение лица бывает предвестником бедственной жизни. Что будет дальше – угадать трудно, но теперь мне жаль

⁹ Елизавета Петровна (1709—1761), дочь Петра I и Марты Самуиловны Скавронской, цесаревна, императрица с 1741 г.

¹⁰ Имеется в виду фон-Миних, граф, обер-гофмейстер, сын генерал-фельдмаршала.

мою бедненькую принцессу, и вот почему, сказать между нами, я не препятствую её невинным письменным сношениям с графом Линаром. Я делаю вид, будто ничего не знаю. Они начались без всякого моего участия, и те практические соображения, о которых я говорила вам прежде, заставляют меня не ссориться с принцессой. Притом как же и поступить мне: не явиться же к императрице или к герцогу в качестве доносчицы на принцессу?.. Наконец, я имею в виду, что она скоро выйдет замуж и тогда, как это обыкновенно бывает, легко забудет нынешнюю любовь. Я пыталась недавно разговаривать с государыней о нежелании принцессы вступить в предположенный брак, но она холодно и резко отклонила этот разговор, приведя какую-то русскую пословицу, смысл которой: стерпится – слюбится.

Во время этого разговора послышался перед домом шум подъезжавшего экипажа. Хозяйка взглянула в окно.

– А вот и мой муж возвратился из города, – сказала она, – он будет очень рад, что застал вас ещё здесь.

Приведя в порядок свой туалет, потерпевший несколько в дороге, баронет появился в гостиной. Он был щеголеватым, красивым мужчиной средних лет, его наружность, а также живость и бойкость его манер обнаруживали его французское происхождение. Наговорив гостю разных почтительных любезностей, он принялся передавать ей только что слышанные им городские новости, затем заговорил с ней о политических делах и о своих коммерческих операциях. То серьёзная, то шутивная беседа хозяев с гостьей длилась довольно долго. Проводив гостю, баронет сказал жене, что ему нужно приготовить к завтрашнему дню несколько депеш, и предложил ей, не захочет ли она отправить с ними и свои письма. Затем он пошёл наверх в свой кабинет и засел там за своими бумагами, а жена его принялась писать письмо к своей лондонской приятельнице. В письме этом были между прочим следующие строки:

«Госпожа Адеркас, гувернантка принцессы Анны, родилась в Пруссии и осталась вдовой после генерала, который, кажется, был родом француз. Она была с ним во Франции, в Германии и в Испании. Она очень хороша собою, хотя уже не молода, и обогатила свой природный ум чтением. Так как она долго жила при разных дворах, то её знакомства искали лица всевозможных званий, что и развило в ней умственные способности и суждения. Разговор её может нравиться и принцессе, и жене торговца, и каждая из них будет удовлетворена её беседой. В частном разговоре она никогда не забывает придворной вежливости, а при дворе – свободы частного разговора; в беседе она, как кажется, всегда ищет случая научиться чему-нибудь от тех, с кем разговаривает. Я думаю, однако, что найдётся очень мало лиц, которые сами не научились бы от неё чему-нибудь. Самые приятные часы с тех пор, как я живу в Петербурге, я провела с нею, хотя обязанности её не позволяют мне пользоваться её беседой так часто, как я желала бы, но когда это случается, то я провожу время и приятно, и поучительно».

Письмо это в особом конверте было вложено в большой пакет, на котором значилось, что он посылается от баронета Рондо¹¹, английского резидента в Петербурге.

¹¹ Рондо, Клавдий (бывший секретарь консула Вордо), английский резидент в Петербурге с ноября 1731 по октябрь 1739 г.

II

К началу августа императрица Анна Ивановна со своим малочисленным двором переехала, по обыкновению, в Петербург, в так называемый Летний дворец, чтобы там провести конец тёплого времени года. Летний дворец был построен в 1711 г. Петром Великим, в углу, образуемом Летним садом и Фонтанкой. Почти до сих пор он сохранился в своём первоначальном виде. По случаю празднества бракосочетания герцога Голштинского с цесаревной Анной Петровной¹², при Екатерине I¹³, рядом с этим Летним дворцом была выстроена большая деревянная галерея с четырьмя залами по бокам. Галерея эта, по приказанию императрицы Анны Ивановны, была сломана в 1731 году, и на её месте выстроили новый деревянный дворец, очень плохой архитектуры, существовавший до воцарения Елизаветы Петровны.

Наступила осень, и императрица переехала на зимнее житьё. Прежний каменный двухэтажный дворец, находившийся на берегу Невы на углу Зимней канавы и Большой Миллионной, с его пристройками на том месте, где ныне находится Эрмитаж, казался Анне Ивановне и тесным и неудобным. Поэтому она для зимнего своего пребывания выбрала в 1732 году обширный дом адмирала графа Апраксина¹⁴, подаренный им в 1728 году императору Петру II¹⁵ и стоявший почти на том же месте, где ныне находится Зимний дворец.

Живя в городе, императрица каждый день в 8 часов утра была уже на ногах и, окончив свой утренний туалет, начинала с 9 часов принимать своих министров или у себя в кабинете, или в манеже, к которому приучил её Бирон¹⁶, страстный охотник до верховой езды и отлично обучавший самых непокорных коней.

Было пасмурное ноябрьское утро, и свечи ещё горели в покоях императрицы, когда к ней с докладом явился второй кабинет-министр граф Андрей Иванович Остерман¹⁷. Несмотря на любовь императрицы к роскошной одежде, министр приехал к государыне одетым крайне неряшливо, в полинялом кафтане какого-то светло-бурого цвета, в жабо не первой белизны, в плохо напудренном и набок надетом парике, в грязноватых чулках и поистоптанных башмаках. Государыня, зная скупость Остермана, снисходительно смотрела на такое отступление от правил придворного этикета, требовавшего изящества и порядка в одежде.

– Ну что, Андрей Иванович, – сказала ему императрица, покончив с ним разговор о подписанных ею бумагах, – слава Богу, дело наше устроилось: подождём ещё немного, да и свадьбу сыграем. Слишком скоро покончить нельзя. Готовила я Аннушке приданое давно, а всё-таки оказывается, что нужен был год, чтобы выдать её замуж, как следует выдать богатую невесту. Да и теперь ещё кое-чего не успели приготовить в Париже. Спишись-ка об этом с князем Кан-

¹² Анна Петровна (1708—1728) дочь Петра I и Марты Самуиловны Скавронской, 24 ноября 1724 года была обручена с Карлом-Фридрихом (1700—1739), герцогом Голштинским, сыном старшей сестры Карла XII, венчана с ним в Петербургской Троицкой церкви 21 мая 1725 г.

¹³ Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская) (1684—1727), российская императрица, правила страной с 1725 г., вторая жена Петра I, мать Анны и Елизаветы.

¹⁴ Апраксин Фёдор Матвеевич (1661—1728), граф, генерал-адмирал, президент Адмиралтейской коллегии, член Верховного тайного совета, один из ближайших сподвижников Петра I.

¹⁵ Пётр II Алексеевич (1715—1730), российский император с 1727 г., сын царевича Алексея Петровича и кронпринцессы Вольфенбюттельской Шарлотты Христины Софии.

¹⁶ Эрнст Иоганн Бирон (1700—1772) – граф (с 1730 г.), курляндский дворянин, фаворит императрицы Анны Иоанновны. С 1718 года находился при дворе Анны Ивановны в Курляндии; в 1730 г. в качестве обер-камергера её двора приехал в Россию. Имел огромное влияние на императрицу и использовал его для устройства собственных денежных дел, покровительства иностранцам.

¹⁷ Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоанн Фридрих; 1686—1747). Родился в Вестфалии, учился в Иенском университете. Принят на русскую службу К. Крюсом в Амстердаме в 1708 г. С 1723 г. вице-президент Коллегии иностранных дел. При Екатерине I вице-канцлер, член Верховного тайного совета, в 1727 г. обер-гофмаршал Петра II, в 1730 г. – граф, в 1734 г. – кабинет-министр, в 1740 г. – генерал-адмирал.

темиром¹⁸, да пусть он побольше закупит перчаток да чулков и мне и невесте. Праздники будут у нас большие. Кажись, я и приказывала тебе прошлый раз об этом?..

– Я уже и исполнил повеление вашего величества, и мне остаётся только радоваться, что Бог благословил намерения ваши.

– Помню я, Андрей Иванович как ты и старший Левенвольд¹⁹, когда вы узнали, что я ни за что не хочу второй раз выходить замуж, стали заговаривать со мной о необходимости унаследования престола.

– Тогдашние обстоятельства, ваше величество, требовали этого безотлагательно...

– Правда твоя, правда, – густым голосом, почти что басом, проговорила Анна Ивановна. – Ведь вот поди, кажись, какое лёгкое дело выдать замуж племянницу, да и она не бесприданница какая-нибудь, и дети бы от брака с нею хорошо устроены были, а сколько, однако, нам пришлось хлопотать около этого дела.

– Различные инфлуенции и конъюнктуры европейских дворов много тому препятствовали, – заметил с глубокомысленным видом Остерман.

– То-то и есть, а всё устроилось бы гораздо легче, если бы я и Аннушку прямо объявила моей наследницей. Да ты и Левенвольд отклонили меня от этого.

– К сему, ваше величество, побуждало нас искреннее желание блага России... Несмотря на усердные моления верноподданных, жизнь царей в руках Господних, и если бы, от чего Боже сохрани, её высочество ещё безбрачная неожиданно сделалась преемницей вашей, то, не говоря о том, что на российском престоле не утвердилось бы мужское поколение, цесаревна Елизавета...

– Знаю, что ты мне хочешь сказать, Андрей Иваныч, – прервала императрица, нахмутив свои густые брови.

– Кроме того, отец принцессы...

– Этот старый негодник забрался бы к нам и начал бы хозяйничать по-своему...

– Так точно, ваше величество. Притом принцесса Анна Леопольдовна, объявленная лично наследницей... – проговорил, заминаясь, министр.

– Небось зазналась бы передо мной?.. Нет, Андрей Иваныч, никогда бы этому не бывать... Плохо, видно, вы ещё меня знаете, – проговорила императрица и, выпрямившись во весь свой огромный рост, взглянула суровыми глазами на оторопевшего Остермана. – Всё это пустяки! Никому баловаться и своевольничать я не позволю, – добавила она твёрдым голосом, погрозив пальцем. – При дворе и в городе, чего доброго, пожалуй, иное думают и толкуют теперь себе под нос, что вот, мол, не захотела принцесса пойти замуж за принца Курляндского – и не пошла²⁰, и тётка ничего с нею поделывать не могла...

Остерман, очень хорошо знавший истинную причину нерасположения императрицы к этому браку, поспешил льстиво заметить, что в этом случае высочайшая премудрость её величества была лучшей руководительницей.

¹⁸ Кантемир, Антиох Дмитриевич, князь, тайный советник, посол при французском дворе.

¹⁹ Речь идёт о Карле-Густаве Левенвольде, резиденте герцога Курляндского Фердинанда при русском дворе.

²⁰ Анне Леопольдовне не очень нравился выбранный Левенвольдом её жених – принц Антон Ульрих, племянник императрицы Австрийской. Отношения между молодыми людьми не складывались. Жена английского посланника леди Рондо, в одном из писем, 12 июня 1739 года писала: «... его воспитывали вместе с принцессою Анною, чем надеялись поселить в них взаимную привязанность, но это, кажется, произвело совершенно противное действие, потому что она ему оказывает более чем ненависть – презрение». Когда принцессе предложено было высказаться, желает ли она идти замуж за принца, она тотчас же отвечала, что охотнее положит голову на плаху, чем пойдёт за него. Этою минутою воспользовался Бирон. Через дочерей генерала Ушакова, через жену камергера Чернышёва, бывшей тогда в чрезвычайной доверенности у принцессы, он принялся хлопотать в пользу своего старшего сына, принца Петра. Однако принцесса питала закоренелую ненависть к Бирону и его семейству и выказала себя изумлённою и раздражённою от «неприличного предложения» Чернышёвой. Чтобы лишить возможности внушить императрице что-нибудь другое, она сделала над собою величайшее усилие и объявила, что, ещё раз посоветовавшись с собою, готова к послушанию и желает выйти за принца Бевернского.

– А сказать тебе по правде, – начала императрица ласковым тоном, – ведь и настоящий-то жених не ахти какой. Навязал нам его римский император; захотел получше устроить своего племянника, и не отослала я назад его в неметчину потому только, что не хотела вздорить с венским двором, а то давным бы давно с глаз моих его прогнала. Неказист он больно, и говорю я близким ко мне, как ты, людям без всякой утайки; принц Антон так же мало мне нравится²¹, как и своей невесте, да что будешь делать? – высокие особы не всегда по склонности в браке соединяются. Вот хоть бы я и сама: покойный дядя мой Пётр Алексеевич²², – царство ему небесное, – выдал меня за герцога, не спрося меня: мил ли мне выбранный мне жених или нет? А всё же я охотно пошла за него. Горемычное житьё было наше, когда мы после царя-родителя сиротами остались. Брат твой у нас учителем был²³, и он всё хорошо знать должен. Кто только нас не обижал тогда, и надлежащих нам по рождению титулов даже не давали, а звали попросту Ивановнами. Да и во вдовстве моём разве мало я всякого горя и принижения натерпелась...

Императрица тяжело вздохнула и немного призадумалась. В памяти её быстро ожили те дни, когда она, пленившись блестящим Морицем Саксонским²⁴, с такой радостью готова была отдать ему своё сердце, свободное ещё от полновластного владычества Бирона.

– Много, много в жизни своей я натерпелась, – начала она. – Бывало, приеду сюда из Митава²⁵, так словно какая-нибудь челобитница из подлого народа, то к светлейшему князю Александру Данилычу²⁶, то к другим знатым персонам ходишь, чтобы какую-нибудь тыщонку рублёвиков выпросить; да и ту с погрёками, неохотно давали... А вот как посмотришь, то не только всё хорошо обошлось, но ещё и самодержавствовать мне Господь Бог привёл.

– Он взыскал ваше величество своей милостью для славы и счастья российского отечества, – подхватил Остерман, низко склоняясь перед императрицей.

– Устал ты, Андрей Иванович, поезжай домой да отдохни.

– С рабским моим усердием на службе всемилостивейшей моей государыни никакой усталости никогда не чувствую...

– Спасибо тебе за твою службу...

Остерман хотел было стать на колени, но ноги его дрожали, и он испустил тихий, сдержанный, быть может, и притворный стон.

– Не нужно, не нужно, – сказала императрица и протянула ему свою большую руку, которую Остерман поцеловал с благоговением, а Анна Ивановна милостиво кивнула ему головой на прощание.

²¹ Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский. Получив от русского Двора чин кирасирского полковника и назначенное приличное содержание, он, прибыв в Петербург, имел несчастье не понравиться Анне Иоанновне.

²² Пётр I Алексеевич (1672—1725), царь (с 1682), император (с 1721). Его родителями были: Наталья Кирилловна, урождённая Нарышкина (1651—1694) и Алексей Михайлович (1629—1676), царь с 1645 г.

²³ Остерман, Иоганн Христофор Дидрих, тайный регирунгсрат при дворе герцога Карла-Леопольда Мекленбургского (супруг царевны Екатерины Иоанновны), старший брат графа Андрея Ивановича Остермана.

²⁴ Мориц, граф Саксонский, побочный сын Августа II, короля Польского.

²⁵ Митава – столица Курляндии, была занята русскими войсками в 1705 г. Ныне – латвийский город Елгава.

²⁶ Меншиков Александр Данилович (1673—1729), светлейший князь, герцог Ижорский, генералиссимус, президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета, ближайший сподвижник и друг Петра I, в 1727 году сослан в Сибирь, где и умер.

III

В ту пору, к которой относится наш рассказ, жизнь в Петербурге отличалась, между прочим, и тем, что в здешних даже самых знатных домах утро начиналось гораздо ранее, нежели теперь, и сообразно со вставанием спозаранку распределялся весь день. Так, императрица Анна Ивановна постоянно обедала в полдень. Прихода её в столовую ожидал Бирон со своим семейством и, кроме этих лиц, никого никогда не бывало за ежедневным обедом государыни. Даже для принцессы Анны Леопольдовны, жившей в одном дворце с императрицей, держали особый стол. У принцессы вообще не бывал никто из посторонних, и всё её общество ограничивалось её воспитательницей, безразлучной её подругой, фрейлиной баронессой Юлианой Менгден²⁷ да несколькими камер-юнгферами. Принцессу держали во дворце под строгим надзором. Императрица и Бирон допытывались беспрестанно у приставленных к принцессе соглядатаев о том, кто из чужих людей был в течение дня в её покоях. За случайными посетителями и посетительницами Анны Леопольдовны учреждался тотчас же бдительный надзор, и они могли быть уверены, что имена их значатся в списках тайной канцелярии в числе так называвшихся тогда «намеченных» людей, т. е. таких оподозренных личностей, которых при каком-нибудь особом случае следовало немедленно притянуть к допросам и пыткам. Разумеется, что такой строгий надзор за принцессой был учреждён в политических видах, но в этом отношении он был совершенно излишен, так как Анна Леопольдовна вовсе и не думала заниматься политическими делами. Надзор этот оказался, однако, недействительным на те случаи, когда, как говорится, девушку под замком не удержишь.

На придворных балах и в близком к императрице кружке принцесса встречала изящного, щеголеватого польско-саксонского посланника графа Морица-Карла Линара. Он был воспитанником известного учёного Бюшинга, и при высоком образовании отличался светской любезностью, усвоенной им при дрезденском дворе, который в ту пору соперничал с версальским в отношении лоска и блеска. Современные сказания не оставили описания наружности графа Линара, и портрета его нам видеть не приводилось, но судя по общим отзывам современников, Линар был такой красавец, что при своём появлении заставлял биться и трепетать все женские сердца. В Петербург приехал Линар уже не юношей, но мужчиной в полном расцвете красоты и молодости: ему было тогда с лишком тридцать лет, так что он шестнадцатью годами был старше принцессы Анны. В длинной веренице дам и девиц, пленённых Линаром, была и принцесса. Неизвестно, когда и как началось между ними сближение; неизвестно также, увлекался ли граф Линар Анной, как молодой, страстно полюбившей его девушкой, и платил ей взаимной страстью, или же в пылкой её любви он видел только удовлетворение своего тщеславия и суетности. Быть может, таинственность и опасность такой любви придавали, в глазах Линара, особый привлекательно-романтический оттенок сближению его с принцессой: самолюбию победоносного красавца могло быть очень приятно присоединить к числу изнывавших по нему дочерей Евы и будущую, по всей вероятности, наследницу русской короны. Между ней и Линаром завязались письменные сношения. Не имея случая часто видеться, принцесса и граф обменивались между собою записочками, которые не дошли до нас, и потому нельзя знать, содержали ли они в себе только пустые весточки друг о друге, или были наполнены пламенными признаниями и взаимными клятвами любить друг друга вечно, до гробовой доски. Какого бы, впрочем, содержания ни была эта переписка, но она довольно долго велась между принцессой и графом, и если верить дошедшим до нас сказаниям, то г-жа Адеркас в разговоре

²⁷ Дочь лифляндского ландмаршала, Юлиана Менгден родилась в 1719 году. Когда именно поступила она в придворный штат – с достоверностью неизвестно; но чрезвычайная привязанность к ней Анны Леопольдовны заставляет предполагать, что Юлиана была совоспитанницей принцессы и товарищем её детских игр.

своём с леди Рондо²⁸ не была вполне откровенна. Наставница принцессы не только снисходительно, как на детскую забаву, как на невинное развлечение, смотрела на каллиграфические упражнения своей питомицы, но даже сама способствовала передаче пересылаемых и с той и с другой стороны цидулок. Статься может и то, что такие послания, проходя предварительно через цензуру наставницы, ограничивались только тем, что в отношении любви не имело никакого существенного значения, и потому гувернантка принцессы, побывавшая при различных европейских дворах того времени, где девическая скромность – хотя бы и принцесс – не считалась необходимой добродетелью, не видела особой важности в маленьких грешках своей царственной воспитанницы.

Но возвратимся к Анне Ивановне.

Постоянные её обеды с семейством Бирона не бывали только в самые торжественные дни. В эти дни государыня кушала в публичке. Тогда она садилась на трон, устроенный под великолепным бархатным балдахин²⁹, украшенным золотым шитьём и такими же кистями, имея около себя с одной стороны цесаревну Елизавету Петровну, а с другой принцессу Анну Леопольдовну. На этих торжественных обедах выказывалась вся роскошь и пышность тогдашнего петербургского двора. На столах блестели и изящный богемский хрусталь, и севрский фарфор, и серебро, и золото в изобилии, поражавшем иностранных гостей. Но всех тогда поражало ещё более одно особое обстоятельство: Бирон на это время сходил с высоты своего величия. Он являлся тут не застольным бесцеремонным собеседником императрицы, но почтительно прислуживал ей в звании обер-камергера, которое он сохранил за собой и по получении герцогского сана. В последние годы царствования Анны Ивановны торжественные обеды давались очень редко, по всей вероятности, ввиду того, чтобы не низводить владетельного герцога Курляндского на степень простого царедворца.

Во время одного из тех ежедневных обедов, о которых мы упомянули выше, сидели за одним столом с императрицей герцог с герцогиней, двое их сыновей и дочь Гедвига³⁰. Бирон и его семейство говорили обыкновенно по-немецки, так как государыня, хотя сама и затруднялась совершенно свободно объясняться на этом языке, но очень хорошо понимала, что говорили другие. Во время обеда речь зашла случайно о графе Линаре.

– Почитай, что он теперь у нас первый красавец в Петербурге, – сказала императрица.

– Правда, ваше величество, за то он и пользуется такими успехами у здешних дам и девиц, – подхватила герцогиня.

– У нас насчёт дам не всегда счастливо сходит с рук, – сказала, улыбаясь, Анна Ивановна, – особенно если кто-нибудь проболтается. Вот когда я жила в Москве, то там завёлся один господин, – да ты, герцог, его знал, – большой ходок по этой части. Он и стал было хвалиться своими проказами с дамами, с которыми встречался в знакомом доме. Дошло его хвастовство до их мужей, и вот тогда и жёны, и мужья согласились проучить молодца, чтобы он не хвастал по-пустому, если ничего не было, а если и было, то умел бы молчать. Одна из барынь пригласила к себе этого кавалера будто бы поужинать с ней наедине. Разумеется, он не отказался, а когда приехал, то она и принялась выговаривать ему, что он больно болтлив. Он было стал отнекиваться, а в это время вошли другие дамы со своими обиженными мужьями и уличили его. Тогда порешили с этим хватом произвести расправу, и произвели её и сами барыни и их служанки: просто-напросто высекли молодца, да так, что он несколько дней провалялся в постели.

Анна Ивановна, любившая почему-то повторять этот рассказ, засмеялась густым смехом.

²⁸ Жена английского резидента при русском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны, леди Рондо была в дружеских отношениях со многими лицами из ближайшего окружения принцессы Анны Леопольдовны.

²⁹ В старину балдахин^{ом} называли украшенный навес на столбиках.

³⁰ У герцога Курляндского и жены его герцогини Бенигны Готтлиб было двое сыновей, Пётр и Карл, и дочь Гедвига Елизавета Бирон.

– Это уж слишком по-московски, – заметил язвительно герцог.

– Ну, острастка иногда не мешает, – проговорила герцогиня, – вот хоть бы граф Линар...

Герцог быстро взглянул на жену, показывая ей глазами на сидевшую за столом принцессу Курляндскую и тем давая знак герцогине, чтобы она прекратила начатый ею разговор. В свою очередь императрица пытливо посмотрела на герцога, который глазами дал понять императрице, что он после поговорит с нею о графе Линаре, и затем перевёл речь на любимый свой предмет – на лошадей, принявшись с жаром знатока и любителя оценивать прекрасные стати тех из них, которые на днях присланы были ему в подарок от короля прусского.

Императрица слушала толки герцога довольно рассеянно. Заметно было, что начатый и так таинственно прерванный разговор о Линаре занимал её более, нежели поднадоевшие уже ей рассказы герцога о лошадях, сбруе, манеже и конюхах. Видно было, что она с трудом сдерживала любопытство и хотела, чтобы ей поскорее разъяснили какие-то тёмные намёки, сделанные герцогиней насчёт графа Линара. Она понимала, что герцогиня проговорилась неосторожно, преждевременно и что здесь кроется что-то, ей пока не известное.

По окончании обеда императрица перешла с Бироном в другую комнату, и здесь герцог наедине передал ей дошедшие на днях до него, от его собственных лазутчиков, сведения о сношениях принцессы Анны Леопольдовны с Линаром. Он просил государыню подождать с решением этого дела до вечера, так как к этому времени он надеялся представить её величеству несомненные доказательства виновности легкомысленной принцессы. После продолжительного разговора по этому поводу императрица поручила Бирону, чтобы он на всякий случай приказал графу Остерману и начальнику тайной канцелярии, генералу Ушакову³¹ явиться к ней во дворец на сегодняшнее вечернее собрание, сказав, что она сообразно с тем, что окажется по делу принцессы, даст каждому из них особое повеление.

Пригрозив расправиться со всеми виновными как следует, Анна Ивановна принялась внимательно рассматривать ружьё, только что поднесённое ей тульскими оружейниками. Судя по её замечаниям насчёт ружья, можно было сказать, что она отлично знала толк в огнестрельном оружии, и в этом не было, впрочем, ничего удивительного. Известно, что она чрезвычайно любила охоту и стрельбу из ружей, в которой приобрела такую сноровку, что без промаха попадала в цель, и также очень редко случалось, чтобы выстрел её был неудачен, если он был направлен ею в летящую птицу. Во внутренних её покоях стояли всегда заряженные ружья; она стреляла из них через окна, в пролетавших мимо дворца галок, воробьёв и ласточек, а в галерее дворца было устроено стрельбище, где иногда назначалась стрельба на призы, в которой должны были принимать участие, в угоду императрице, все придворные, не исключая и дам.

Осмотрев ружьё, она, как это делала каждый день после обеда, сыграла с герцогом несколько партий на бильярде, показав в этой игре замечательное со своей стороны искусство. Затем, расставшись с герцогом, пошла во внутренние свои покои через комнаты герцогини.

В это время у герцогини была известная уже нам леди Рондо, которая в одном из писем к своей лондонской приятельнице передавала следующее:

«Герцогиня – большая любительница вышивания, и, узнав, что у меня есть несколько вышивок моей собственной работы, пожелала их видеть и пригласила меня к себе работать два или три раза в неделю. Я приняла это приглашение с удовольствием по двум причинам: во-первых, г. Рондо, занимая настоящий пост, может извлечь из этого выгоды; во-вторых, мне представляется случай видеть царицу в такой обстановке, в какой иначе нельзя было бы видеть, потому что она постоянно проходит через ту комнату, в которой мы занимаемся рукоделием. Так как комнаты её смежные с комнатами герцогини, то она после обеда много раз приходит к нам, не обращая внимания на то, встаём ли мы перед нею или нет. Иногда она садится за пядьлицы, работает вместе с нами и много разговаривает об Англии и обо всём, что касается

³¹ Андрей Иванович Ушаков (1670—1747) – граф, сенатор (с 1724), начальник Тайной канцелярии (с 1730).

королевы. По её словам, она так желает видеть королеву, что охотно сделала бы полдороги ей навстречу. По-видимому, она довольна, когда я старалась говорить с ней по-русски, и так милостива, что учит меня, когда я выражаюсь худо или затрудняюсь в разговоре. Это случается очень часто, потому что я говорю по-русски плохо, хотя и понимаю, что говорят другие; мне очень приятно видеть столько добродушия в особе, имеющей такую неограниченную власть. Во время её присутствия у герцогини бывает обыкновенно пять или шесть дам и один или два придворных кавалера, которые ведут самый обыкновенный разговор. Иногда императрица принимает в нём участие как равная, сохраняя, однако, своё достоинство, но таким образом, что при этом не чувствуется никакого стеснения».

IV

Вечером того дня, когда императрица говорила наедине с Бироном о принцессе Анне Леопольдовне и о графе Линаре, было во дворце обыкновенное собрание.

В ту пору дворцовые собрания не отличались уже прежней беспорядочностью и полной непринуждённостью, какие господствовали на дворцовых ассамблеях Петра Великого, а отчасти продолжались ещё и при Екатерине I. Собрания эти не напоминали и тех шумных охотничьих пирушек, какие происходили при Петре II. В противоположность всему этому в роскошно отделанных залах дворца Анны Ивановны были тишина и чинность со стороны гостей. Строгий чопорный этикет версальского двора усваивался мало-помалу и петербургским, хотя при нём не исчезли окончательно простые, незатейливые или, вернее сказать, грубые обычаи и развлечения нашего старинного быта. В домашней своей жизни Анна Ивановна была настоящей богатой русской барыней со всеми привычками и замашками того времени, и даже долготнее пребывание её в Митаве, среди немцев, не отучило её окончательно от той обстановки жизни, которую она привыкла видеть с детства в своей семье. Если, впрочем, во дворце Анны Ивановны и допускались неприличные и, по нынешним понятиям, разные слишком обидные для царедворцев потехи и шутки, если она и забавлялась с шутами, шутихами, скоморохами, карлами и карлицами, – то наряду с этим пробивалось уже понятие о том, что русский двор должен усваивать хорошие образцы и утончённый вкус западных европейских дворов. При дворе Анны Ивановны были уже актёры, а также и музыканты и певцы, выписанные из Италии в Петербург на большое жалованье. Итальянская и немецкая комедия чрезвычайно нравилась её придворным. При ней же в 1736 году была поставлена в Петербурге первая опера.

Бирон, любимец императрицы, был большой охотник до роскоши и великолепия, и уже этого было довольно, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор самым блестящим в Европе. С этой целью употреблены были большие суммы денег, но желание императрицы не легко и не скоро исполнялось. Перенимаемые у нас из Франции изысканность и щеголеватость сталкивались на каждом шагу с прежними непорядочностью и неряшливостью. И та и другая отражались сильно не только в общественных сношениях, взаимных поступках, образе жизни, но и во всех условиях домашнего быта. Часто у иного придворного щёголя, при богатейшем кафтане, парик был прескверно вычесан, превосходную штофную материю³² неискусный крепостной портной портил дурным или смешным покроем, или, если чей-нибудь наряд был во всех отношениях безукоризнен, то экипаж был крайне плох, и иной вельможа в богатом французском костюме, в шелку, бархате и кружевах ехал в дрянной старой карете, которую еле волокли заморенные клячи, в изорванной упряжи, а на запятках стояли гайдуки в рваных ливреях и в дырявых сапогах; таким же нарядом отличались обыкновенно и кучер и фореитор.

Отсутствие вкуса и порядочности господствовало также и в домах; в одном и том же доме можно было найти выписанную из Парижа самую новомодную мебель, золотую и серебряную посуду в большом изобилии, шёлковые обои, великолепные гобелены, редкие картины, фарфор, бронзу и ковры, а вместе с тем пыль, грязь и отвратительную нечистоту, даже в роскошно отделанных приёмных покоях, не говоря уже о других принадлежностях жилья, недоступных для посторонних.

Женские наряды представляли такую же крайнюю противоположность, как и мужские: на один женский изящный туалет встречалось тогда в Петербурге десяток безобразно одетых женщин. Превосходные брюссельские и венецианские кружева нашивались на полотняные роброны, дорогой лионский бархат и шёлковая материя сшивались вместе с какой-нибудь

³² Штоф – тяжёлая шёлковая ткань для обивки мебели, для портьер и т. п.

самой простой домашней тканью. Фасоны дамских платьев, заимствованные из Франции, перделывались в Петербурге на домашний уродливый лад.

Такие противоположности одного с другим были общим явлением, и мало встречалось домов и лиц, особенно в первые годы царствования Анны Ивановны, которые составляли бы в этом отношении заметное исключение. Только мало-помалу русская знать, а за нею и прочее дворянство стали подражать тем, у кого было более вкуса. Даже двор не мог сразу усвоить себе тот порядок и ту изящность, какие были тогда уже в других странах Европы. На это потребовались многие годы.

Между тем роскошь, хотя и безвкусная, стоила двору громадных издержек. При Анне Ивановне придворный, который в состоянии был издерживать в год только по две, по три тысячи рублей на свой гардероб, не мог ещё похвастать щегольством. Все поголовно разорялись на наряды, и один тогдашний остряк заметил, что следовало бы расширить городские заставы для выпуска дворян, напяливших на себя при выезде из Петербурга целые деревни. И действительно, в ту пору люди, служившие при дворе в течение немногих лет, растрачивали своё состояние на наряды. Жалованьем никак нельзя было покрывать свои расходы по этой слишком дорого стоившей статье, и, по словам одного современника, довольно было какому-нибудь предприимчивому французу – торговцу мод прожить года два в тогдашнем Петербурге, чтобы приобрести значительное состояние, хотя бы он начал торговлю в кредит, без копейки собственных денег.

Кроме нарядов, тогдашнюю русскую знать разоряла ещё и страшная карточная игра, которая даже при дворе велась в громадных размерах. Многих она в ту пору обогатила, но и многих разорила вконец. Тогда случалось сплошь и рядом, что при дворе в один присест проигрывали по 20 000 рублей на тогдашние серебряные деньги в банк и в квинтич. В частных домах кипела непрерывная карточная игра, причём груды золота переходили из рук в руки.

Императрица, впрочем, не была охотница до игры сама по себе и если играла в карты, то для того только, чтобы проиграть и тем самым наградить косвенным образом более или менее значительной суммой кого-нибудь из близких ей людей, заслуживших её благоволение. В таких случаях она всегда сама держала банк, позволяя понтировать только тому, кого вызывала к игорному столу. С государыней играли не на наличные деньги, а на марки, по предъявлении которых производились на особом столе выдачи выигранных у неё денег. Государыня получала марки, но не разменивала их на счёт проигравших и вообще не брала денег от тех, кто ей проигрывал, хотя и любила оставаться в выигрыше.

В тот вечер, к которому относится наш рассказ, в числе приглашённых императрицей к игре лиц был и польско-саксонский посланник граф Линар. Счастье, однако, не везло ему; он ставил карту за картой, но все они были биты одна за другой.

– По примете, вы, граф, должны быть очень счастливы в любви, так как всё проигрываете, – не без заметной колкости, хотя и шутивным тоном сказала по-немецки императрица, обращаясь к Линару. – Я говорю, что граф счастлив в любви, – перевела она по-русски стоявшему в числе игроков князю Куракину³³.

– Уж если граф такой охотник играть в карты, – живо заметил князь, – то лучше было бы бросить ему любовные делишки, а то как погонишься за двумя зайцами, так, чего доброго, ни одного не поймашь.

– И это правда, – поддакнула Анна Ивановна.

– Ведь и мы, ваше сиятельство, кое-что насчёт вас того знаем, – начал было Куракин, обращаясь к Линару, но императрица строгим взглядом удержала князя от дальнейшей болтовни, которая была в числе главнейших его слабостей.

³³ Александр Борисович Куракин – обер-шталмейстер, первоприсутствующий придворной конюшенной конторы.

Анна Ивановна считала достаточным сделанного ей Линару косвенного намёка и не хотела давать воли языку Куракина, имевшего привычку болтать всё, что взбредёт на ум. Линар в недоумении поглядывал на императрицу и на Куракина, не догадываясь, впрочем, в чём дело.

– Продолжайте играть, граф, теперь вы, быть может, будете счастливы без меня, а ты, герцог, – сказала она стоявшему возле неё Бирону, – помечи за меня на счастье графа Линара.

Передав карты герцогу, императрица отправилась в тот угол залы, где, в отдалении от всех присутствующих, ожидали обыкновенно лица, которым приказано было явиться вечером во дворец по какому-нибудь особенному делу. Теперь в этом углу залы ожидали императрицу Остерман и Ушаков, вообще очень редко приезжавшие на вечерние дворцовые собрания, один из них под предлогом болезни, а другой под предлогом не терпящих отлагательства дел, безустанно производившихся в заведываемой им тайной канцелярии. Оба они, как чрезвычайно сметливые люди, очень хорошо понимали, что чем реже они будут мелькать на глазах у придворных, тем менее будет неблагоприятных о них толков и тем прочнее будет положение их при дворе. Ездить же для того только, чтобы показаться императрице и герцогу, они считали для себя излишним, так как они во всякое время имели свободный доступ и к ней, и к нему, и, следовательно, могли напомнить о себе всегда, когда находили нужным воспользоваться этим.

Между тем Бирон принялся исполнять данное ему императрицей поручение с жаром страстного игрока. С первого взгляда на него в эти минуты можно было убедиться, что герцог был опытный картёжных дел мастер, и действительно, он считал потерянным тот день, когда не играл в карты, но такие дни едва ли и бывали у него во времена его величия. Он постоянно вёл громадную игру и тем самым ставил в неловкое положение своих партнёров, хотя и жаждавших чести поиграть с его светлостью, но вместе с тем не желавших ни обыграть хорошенько могущественного фаворита, ни спустить в пользу его такой значительный куш, который сразу мог дать почувствовать пустоту даже в самом туго набитом кармане.

– Ну, господа, примемся за дело, – с довольным и вызывающим видом сказал герцог игрокам, почтительно стоявшим около него.

Герцог взялся за карты и затем отдался игре. Наверно, если бы кто-нибудь из старых его приятелей и знакомых взглянул на него, то тотчас бы узнал в надменном и сановитом герцоге Курляндском, Лифляндском и Семигальском прежнего Бирона, без удержу дувшегося в карты, на последние гроши, во время своего бурного студенчества. Из рук его, полуприкрытых манжетами из тончайших кружев и искрившихся радужными огнями от множества драгоценных перстней, то плавно выскользали, то быстро выбрасывались карты на зелёное сукно. Он при каждом ударе внимательно обводил глазами тесный круг игроков и, как человек, отлично испытывавший на себе волнения и раздражения, производимые огромной азартной игрой, пылливо вглядывался в выражение лица партнёров. Он напряжённо следил за ходом игры: одобрял смелых игроков, подсмеивался над трусливыми, сочувствовал и выигрышу, и проигрышу, и вообще, исполняя обязанности банкомёта, был как нельзя более на своём месте. Бирон весело шутил и острил, и хотя его шутки и остроты, как обыкновенно, были грубы и плоски, но лица присутствовавших осклаблялись приятной улыбкой, и, вероятно, многие из них чистосердечно думали: «Право, славный малый был бы герцог, если бы он всю жизнь только бы то и делал, что играл бы в карты».

Во время игры он только раз, да и то равнодушно и лениво, бросил искоса взгляд в тот отдалённый уголок залы, где разговаривала Анна Ивановна с Остерманом и Ушаковым, но не так поглядывали на отвратительно-зловонную физиономию этого последнего находившиеся в зале царедворцы; многим из них приходило на мысль, что, чего доброго, не нынче, так завтра их кожи и кости попадут в переделку к грозному начальнику тайной канцелярии, не любившему никому давать спуска.

Поговорив немного в зале с Остерманом и Ушаковым, императрица позвала их в соседнюю комнату и, кончив аудиенцию, подошла к столу и стала смотреть на игру, спрашивая о её

ходе и любопытствовав, отыгрался или нет граф Линар, которого, как оказалось, злая судьба преследовала неустанно во весь этот вечер.

В начале двенадцатого часа императрица удалилась ужинать в свои покои. Гости, поспешив забастовать игру, сели за ужин, приготовленный в одной из зал дворца, и вскоре после полуночи дворец опустел. Разъезжавшиеся гости шёпотом толковали о расположении духа в этот вечер государыни и герцога и высказывали близким себе людям свои догадки и предположения насчёт того, о чём могла бы говорить государыня так долго с Остерманом и Ушаковым. Многие из них улеглись спать не в слишком спокойном настроении мыслей.

На другой день, чуть забрезжило утро, генерал Ушаков в сопровождении переводчика тайной канцелярии и своего адъютанта явился к г-же Адеркас и объявил ей повеление императрицы – тотчас же оставить дворец и затем немедленно отправиться за границу в сопровождении гвардии сержанта и трёх капралов. Тщетно г-жа Адеркас протестовала против такой неожиданной меры. Напрасно спрашивала она Ушакова о причине внезапно постигшего её гнева столь благоволившей к ней прежде государыни. Тщетными остались её просьбы, как о позволении проститься с её любимой воспитанницей, так и о разрешении объясниться лично с императрицей; на эти просьбы Ушаков отвечал решительным и грубым отказом, не допускавшим никаких дальнейших разговоров.

В то же самое утро граф Остерман, сидя за письменным столом в обыкновенном домашнем своём наряде – суконном красном шлафроке, подбитом лисьим мехом, – внимательно переписывал составленную им ночью депешу к саксонскому двору о графе Линаре и предназначенную к отправке в Дрезден в тот же самый день с нарочным. Остерман тщательно отделял и обтачивал каждую фразу и подолгу взвешивал каждое слово, так как предмет депеши представлялся слишком щекотливым для того, чтобы он мог быть высказан хотя бы с малейшей необдуманностью.

По поводу рассказанного нами события фельдмаршал граф Миних заметил в своих «Записках» следующее: «Госпожа Адеркас, совершенно не способная к исполнению обязанностей, сопряжённых с порученной ей должностью воспитательницы принцессы Анны Леопольдовны, была внезапно выслана из России с повелением никогда туда не возвращаться, причём не была даже допущена проститься с её величеством императрицей».

Другой современник этого события, Манштейн³⁴, по поводу его написал: «Старшую воспитательницу принцессы Анны, г-жу Адеркас, обвиняли в том, что она, вместо того чтобы дать хорошее воспитание и блюсти за её поведением, вздумала потворствовать сношениям между принцессой и одним иностранным посланником. Когда это обнаружилось, то г-жу Адеркас немедленно уволили от должности и отправили в Германию, спустя несколько времени и посланника, мечтавшего о такой блестящей победе, удалили под предлогом какого-то поручения к его двору, с тем чтобы двор не возвращал уже его в Петербург».

При такой развязке дела герцог потирал от удовольствия руки, припоминая презрительный ответ принцессы на сделанное ей предложение вступить в брак с сыном его, принцем Петром. На рябом лице герцогини явилась приятная улыбка, когда она узнала об удалении Линара, а императрица задала хороший нагоняй племяннице за её ветренность. Долго, однако, хмурился Ушаков, досадуя на то, что государыня успела узнать о шалостях принцессы помимо него. Он ещё более распекал своих подчинённых и ещё свирепее расправлялся со своими пациентами, вспоминая, что от него ушёл такой редкий и отличный случай, который лучше всего мог свидетельствовать перед императрицей о неусыпной бдительности тайной канцелярии даже в стенах собственного её дворца.

³⁴ Манштейн – адъютант фельдмаршала графа Миниха.

V

Прошло с лишком два года со времени высылки из Петербурга г-жи Адеркас и удаления от петербургского двора графа Линара, но участь Анны Леопольдовны не была ещё решена окончательно, и жизнь принцессы тянулась из года в год прежней чередой. Хотя и говорили постоянно в придворных кругах о скором её браке с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейг-Люнебургским, но совершение брака отлагалось на неопределённый срок, по разным причинам, никому достоверно не известным, кроме государыни и самых приближённых к ней лиц. Между тем принцессе минуло двадцать лет; к этой поре она выровнялась и сделалась красивой девушкой. При среднем росте, она была чрезвычайно стройна и полна, но настолько, что полнота не только не портила её стана, но даже, напротив, придавала всей её фигуре некоторую величавость. Цвет её лица был бледный и чрезвычайно нежный, волосы густые и тёмные, глаза томные и задумчивые, а черты лица хотя и не отличались правильностью, но зато добрая улыбка и кроткий взгляд делали её миловидной и привлекательной, а постоянная грусть, оттенявшая её лицо, возбуждала невольное участие в тех, кому приходилось видеть Анну.

Хранились ли в ту пору в её сердце воспоминания о Линаре – это осталось тайной, которую если принцесса, несмотря на всю свою скрытность, и поверяла кому-нибудь, то разве одной только неразлучной спутнице своей уединённой жизни Юлиане Менгден. Но если бы даже эту первую любовь молодой девушки и успело уже изгладить время, то всё же предназначенный ей жених ничего не выигрывал от такой перемены в чувствах Анны Леопольдовны. Он по-прежнему не встречал к себе с её стороны ни малейшей тени внимания и расположения, и, несмотря на всё его желание и постоянные, всё более и более усиливавшиеся попытки хоть несколько сблизиться с невестой – холодность и нескрываемое к нему презрение принцессы обнаруживались на каждом шагу всё явственнее и всё резче. Но такое обращение Анны с принцем не могло уже изменить её участи, так как вскоре она, по политическим соображениям императрицы, должна была сделаться женой не любимого ею человека.

Впрочем, и полюбить принца Антона для молодой девушки, хотя и со свободным сердцем и даже не слишком разборчивой в выборе женихов, было трудновато. Хотя принц приехал в Россию ещё девятнадцатилетним юношей и прожил при петербургском дворе в ожидании совершеннолетия невесты шесть с лишком лет, но уже ясно видно было, что он не успел даже в это довольно продолжительное время освоиться со своим положением, что он чувствовал себя не на месте, и что у него не доставало ни ума, ни находчивости, чтобы приобрести себе при дворе хоть некоторый почёт. Наружность принца не имела в себе ничего привлекательного: он был небольшого роста, худ, белобрыс, неловок и застенчив, и лицо его было лишено всякого выражения. Вдобавок к этому он заикался. Своей наружностью и своими неуклюжими манерами он при первом же своём появлении в Петербурге произвёл самое неприятное впечатление как на невесту, так и на государыню, которая не раз выговаривала разъезжавшему в Германии по поручению её свату, графу Левенвольду, за то, что он добыл в женихи её племяннице такого невзрачного принца. Если же принц чем и понравился несколько императрице, то лишь тем, что казался ей человеком тихим, уступчивым и непритязательным, а такие смиренные свойства в глазах Анны Ивановны считались похвальными качествами.

– Но неужели же в самом деле я буду когда-нибудь женой этого противного мне принца? – с выражением сильной досады говорила однажды Анна Леопольдовна своей подруге Юлиане Менгден. – Я теперь не могу смотреть на него без отвращения. Недавно как-то тётушка попыталась было похвалить мне его за тихий и спокойный нрав, но нрав-то его, помимо уже его гадкой наружности, мне более всего и не нравится. Какой он мужчина? Чуть только на него прикрикнуть, он сейчас же и оробеет, растеряется вконец, начнёт заикаться, переминаясь с ноги на ногу и не знает даже, что делать и что сказать. Если мне когда-нибудь, по воле Божьей,

придётся царствовать – чего я, впрочем, вовсе не желаю, – то мне будет нужен сильный и решительный друг и помощник. Вот хоть бы такой, например, человек, как фельдмаршал Миних, а то куда годится принц? Я сознаю сама очень хорошо, что у меня нет ни отважности, ни твёрдой воли, ни настойчивости; какой же для меня может быть поддержкой принц Антон? Он никогда ничем не сумеет распорядиться и уступит каждому, кто пригрозит ему. И как униженно держит он себя не только перед императрицей, но и перед герцогом! При каждом приходе герцога он вскакивает с места и не осмеливается сесть, пока тот ему не позволит. Какой он для меня муж? Он в случае надобности не сумеет защитить не только свою жену, но и самого себя...

– Но кто же не боится императрицы и герцога? – заметила Юлиана, и на лице этой пригожей смуглянки появилась лукавая улыбка. – Ты сама дрожишь, когда герцог неожиданно является сюда.

– Это правда, но я женщина, и мне это позволительно. Поэтому-то мне и нужна подмога. Да ты сама, Юлиана, сколько раз ободряла меня, и разве под твоим влиянием я оставалась такой тихой и равнодушной, какой бываю обыкновенно? Мне нужен муж, который поддерживал бы меня, когда у меня неостанет твёрдости, а при такой поддержке я была бы способна решиться на всё. Мне часто кажется, что если бы около меня был человек, которого бы я любила и уважала и в ум и мужество которого я верила бы, то никакая беда, никакая опасность не испугали бы меня.

– Однако нельзя же назвать принца трусом, – не без насмешливого, впрочем, тона заметила Юлиана. – Ведь фельдмаршал Миних во время своих походов не раз доносил императрице о его храбрости, за что принц и получил большие награды.

– О, Миних очень хитёр: он знал, что такие донесения будут приятны императрице, а она в свою очередь рада была хоть чем-нибудь поднять при дворе этого ничтожного человека. Лживым похвалам верить не следует. Вот посмотри, что, например, пишут о принце в газетах. – Говоря это, Анна Леопольдовна выдвинула ящик рабочего столика и, достав оттуда номер «Петербургских ведомостей», подала его Юлиане. – Прочти вслух, – сказала она своей подруге.

Юлиана прочла следующее: «Светлейший государь, князь герцог Брауншвейгский и Люнебургский не токмо от славного уже давно цесарскими и королевскими коронами произошёл дома, но и собственными великими свойствами любовь всего российского народа себе получил, а притом во всех разных кампаниях случившихся акциях, жизнь свою за честь и благополучие её империи крайней подвергнув опасности, через свою храбрость бессмертную себе приобрёл славу».

– Разве это не бесстыдная ложь! – вскрикнула принцесса, топнув ногой.

– А знаешь, – перебила Юлиана, – я давно собиралась тебе передать кое-что, но только боялась, что рассержу тебя, заговорив с тобой о принце Антоне, но так как теперь у нас зашла о нём речь, то я тебе скажу, кстати, вот что: при дворе толкуют, будто бы принц тебе нравится, но ты только притворялась и нарочно показывала к нему отвращение, чтобы обмануть герцога и дать ему повод подумать о том, нельзя ли будет ему женить на тебе своего сына? Ты, говорят, делала это только с тем, чтобы иметь после случай досадить герцогу оскорбительным для него отказом.

– Ты хорошо знаешь, Юлиана, как я ненавижу герцога, – сказала принцесса, и её обыкновенно спокойное лицо оживилось вдруг гневным выражением, – но должна знать и то, что мне никогда в голову не придут такие хитрые затеи. Мне принц просто-напросто противен, но когда герцог задумал сватать меня через Чернышёву за своего сына, этого негодяя мальчишку, то я наотрез, но без всякого умысла досадить герцогу, сказала этой непрошеной свахе, что лучше пойду на плаху, чем под венец с принцем Петром, и что я ни в каком случае не приму этого неприличного предложения. Когда же после этого заговорила со мной о том же самом государыня и затем предложила выбрать мне в мужья или принца Петра, или принца

Антон, то я, не думая тогда вовсе о герцоге, а от чистого сердца, сказала ей, что если мне уж непременно приходится выбирать одного из этих женихов, то я предпочту последнего, потому что он в совершенных летах и происходит из старого владетельного дома.

– Да, сын Бирона хоть и наследный принц Курляндский, но всё-таки не пара тебе, принцессе Мекленбургской, внучке русского царя и... и... быть может, будущей русской императрице... – шёпотом и с расстановкой договорила Менгден.

– Поверь мне, дорогая моя Юлиана, что меня нисколько не прельщает ожидающее меня величие; напротив, оно только пугает меня. Как часто думаю я: зачем Господь предназначил мне такой необыкновенный, высокий жребий? Не лучше ли было мне остаться навсегда в моём родном маленьком городке? Мне всегда кажется, что я была бы гораздо счастливее в более скромной доле. Какая, однако превратность в моей судьбе: привезли меня трёхлетним ребёнком сюда из чужа; я оставила веру, в которой родилась; почти забыла мой родной язык; меня не только разлучили с моим отцом, но и постоянно старались и стараются внушить мне, чтобы я ненавидела его, твердя, что он был мучителем моей матери. Не проходит дня, чтобы императрица не бранила его при мне и не выставляла бы его каким-то диким зверем. А покойница матушка разве любила и баловала меня?.. Нет, Юлиана, тяжело, о, как тяжело всегда жилось мне.

Анна Леопольдовна судорожно схватилась за голову, опустила на кресло и, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Бойкая и словоохотливая подруга принцессы хотела было развлечь её своей весёлой болтовнёй, но принцесса упорно молчала, неподвижно оставаясь в прежнем положении.

Юлиана, слишком хорошо знавшая принцессу, не без удивления смотрела теперь на неё, так как ей ни разу не приходилось ещё видеть Анну Леопольдовну, обыкновенно спокойную и равнодушную, в припадке такого сильного раздражения.

В это время кто-то тихонько постучался в дверь.

– Войди, – сказала Менгден.

Явился камердинер принцессы и доложил, что Артемий Петрович Волынский³⁵ просят позволения видеть её высочество. Принцесса кивнула головой в знак согласия.

Тихими, мерными шагами приблизился Волынский к принцессе. Она протянула ему свою маленькую белую руку, которую он почтительно поцеловал, низко поклонившись перед принцессой, и затем отдал глубокий поклон Юлиане.

– Я осмелился явиться к вашему высочеству, дабы спросить вас, не благоугодно ли будет вам отдать мне каких-нибудь особых приказаний по случаю охоты, назначаемой её императорским величеством?

– Ты знаешь, Артемий Петрович, что я не люблю никаких забав и если где-нибудь бываю, то всегда только поневоле.

– Очень хорошо знаю, ваше высочество, тем не менее... Но отчего вы, ваше высочество, изволите быть так сегодня недовольны? – спросил Волынский принцессу голосом, в котором слышалось непритворное участие.

– Это вы, проклятые министры, – вскрикнула запальчиво принцесса, вскочив с кресел, – это вы довели меня, по вашим расчётам, до того, что я выхожу теперь замуж за того, за кого прежде не думала выходить³⁶.

– Принимаю смелость доложить вашему высочеству, что насчёт окончательного решения о браке вашем с его светлостью принцем Антоном ничего не знал ни я, ни князь Черкасский³⁷...

³⁵ Волынский Артемий Петрович (1689—1740) государственный деятель, дипломат. В 1715 г. отправлен Петром I для переговоров в Персию, генерал-адъютант, обер-егермейстер, губернатор Астрахани, с 1738 г. – кабинет-министр Анны Ивановны. Казнён по обвинению в заговоре против Анны Ивановны.

³⁶ Подлинные слова Анны Леопольдовны Волынскому. (Примечание автора.)

³⁷ Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742) был губернатором в Сибири (1722), потом сенатором; благодаря не

– при этом Волынский искоса взглянул на Менгден, как бы давая знать принцессе, что он стесняется присутствия её подруги.

– Не бойся, говори при ней всё, Артемий Петрович; у меня от неё нет никаких тайн...

– Я нисколько не виноват, – начал Волынский, – в том, что делают с вами, ваше высочество. Во всём этом воля всемилостивейшей государыни, которой мы по природному нашему рабству должны покоряться, а если из министров кто и виноват, то разве один только Остерман... Впрочем, – добавил успокоительным голосом Волынский, – вашему высочеству нет особой причины так горестно кручиниться...

– Как нет? Я терпеть не могу принца Антона: он весьма тих и в поступках не смел³⁸, – перебила Анна Леопольдовна.

– Хотя действительно в его светлости, – заметил Волынский, – и есть кое-какие недостатки, то, напротив того, в вашем высочестве есть довольно благодарования, и для того можете те недостатки снабжать и предупреждать своим благоразумием. Если же принц тих, то вам же лучше, потому что он в советах и в прочем будет вам послушен. Снесите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоит ваш разум и ваша честь³⁹.

– Ты умеешь красно говорить, Артемий Петрович, иногда словно по книге; но от твоих слов мне всё-таки не легче. Да и кроме замужества, разве мало приходится мне терпеть? Ты знаешь, что я говорю теперь с тобою, а сама всё боюсь, не подглядывают ли за мной, не подслушивают ли меня...

– Вот именно относительно этого я и желал предостеречь ваше высочество.

– Опять что-нибудь натолковали государыне? – раздражённым голосом спросила принцесса.

– Это не новость, – равнодушно заметила Юлиана, – пора бы вашему высочеству привыкнуть ко всем вздорным сплетням и не волноваться. Вы ближе всех к государыне, и вам ни в каком случае не следует никого и ничего опасаться...

– Я хотел доложить вам, – сказал шёпотом Волынский, – что ваш обер-гофмаршал граф Миних лежит на ухе герцога и теперь внушает ему, что граф Линар...

– Граф Линар? – с живостью перебила принцесса, и яркая краска покрыла её бледные щёки...

– Он недавно овдовел, – произнёс Волынский, давая время оправиться принцессе и желая подготовить её к слишком щекотливому разговору.

– Ведь он был женат на графине Флемминг? – вмешалась с той же целью догадливая Юлиана, – он не привозил жену в Петербург. Она, кажется, была дочь того министра, который ворочал всем и в Саксонии, и в Польше.

– Кажется, что так, милостивая государыня, – отвечал Волынский, обращаясь к Менгден.

Принцесса между тем успела одолеть своё смущение и, пристально смотря в лицо Волынскому, довольно спокойно спросила:

– Ну, что же граф Линар?..

– Он на днях прислал письмо к герцогу, в котором предупреждает его о злых замыслах принца Антона против его светлости. Он, должно быть, думает, что такими внушениями если не расстроить, то, по крайности, замедлить ваш брак с принцем, а граф Миних позволил себе высказать догадку, не делается ли сие с вашего соизволения, и вызвался наблюдать за вашим высочеством...

столько своим дарованиям, довольно посредственным, сколько огромному состоянию, он явился одним из главных деятелей при подании Анне Ивановне просьбы об уничтожении условий, предписанных ей Верховным тайным советом (23 февраля 1730 г.). Чин действительного тайного советника и орден св. Андрея были его наградой. Участие в свержении Бирона доставило ему от Анны Леопольдовны звание государственного канцлера (1740), которое оставлено за ним Елизаветой Петровной.

³⁸ Подлинные слова Анны Леопольдовны. (Примечание автора.)

³⁹ Подлинная речь Волынского. (Примечание автора.)

– Что же герцог? – спросила Анна Леопольдовна.

– Показал письмо с хохотом графу Остерману и – прошу извинения за смелость моих слов – назвал его светлость принца глупым мальчишкой, грозясь, что при первом же случае публично надерёт ему уши...

– И принц снесёт это... непременно снесёт, – сказала Анна, ударив с сердцем по столу рукою.

– Но что же делать с герцогом? – заметила, пожав плечами, Юлиана и вопросительно взглянув на Анну Леопольдовну.

– И как не стыдно вам, русским, переносить такое унижение от герцога? – проговорила насмешливо принцесса, окинув презрительным взглядом Волынского.

Наступила минута глубокого молчания. Волынский призадумался... Жестоким укором отозвались в его сердце слова принцессы; кровь хлынула ему в лицо, оно всё побагровело. Волынскому и стыдно, и больно стало, что даже такая слабая, нерешительная женщина, какой слыла принцесса, может укорять его за унижение перед проходивцем, – его, русского вельможу, потомка древних бояр и знаменитых военачальников московских.

– Кто знает, ваше высочество, – заговорил как бы пророческим голосом, гордо вскинув свою голову, Волынский, – кто знает; не придёт ли когда-нибудь день, – и быть может, уже близок он, – когда Волынский искупит свои тяжкие грехи перед Богом и отечеством, когда он покажет, как... – От сильного волнения Волынский не мог говорить более.

Анна Леопольдовна с удивлением взглянула на него.

– Прощайте, ваше высочество... Вы дали мне урок, которого я никогда не забуду, – проговорил расстроенный Волынский.

– Прощай, до свидания, Артемий Петрович, – сказала ему ласково принцесса, подавая руку, которую Волынский поцеловал почтительно и крепко.

Это было последнее непубличное свидание его с принцессой. Спустя немного времени умная и горячая голова Волынского соскочила с плеч под ударом топора; но перед казнью он на дыбе давал показания о своём свидании с принцессой, и показания эти сохранились для истории в кровавых летописях тайной канцелярии.

VI

Летом 1739 года стали поговаривать в Петербурге о браке Анны Леопольдовны. Говорили, впрочем, об этом не без некоторой опаски, оглядываясь по сторонам из боязни, чтобы неожиданно не подвернулся какой-нибудь шпион или просто какой-нибудь негодяй, который, заслышав упоминание о царской семье, готов будет крикнуть «слово и дело». Приготовления к свадьбе принцессы делались большие, и с лишком год работали только над экипажами и одеждой прислуги придворного ведомства, для того чтобы придать празднеству великолепную уличную обстановку. Императрица Анна Ивановна как будто в последний раз готовилась показать во всём блеске роскошь и великолепие своего двора. После долгих откладываний было решено, наконец, повенчать принцессу с принцем Антоном, и оставалось только уладить обряд сватовства. Но пока успели согласиться насчёт этого, немало попортилось крови и желчи как у графа Остермана, так и у будущего свата со стороны принца, маркиза Бота-ди-Адорно⁴⁰, а также немало досады учинено было и всемилостивейшей государыне.

Упомянутый маркиз Ботта ди-Адорно был посланником римско-немецкого императора при петербургском дворе, а потому условлено было, что он только на три дня примет звание чрезвычайного посла для того, чтобы просить руки принцессы Анны для принца Антона, племянника императора по его жене. Должно было, однако, для поддержания достоинства русского двора вести дело таким образом, будто бы маркиз Ботта нарочно приехал из Вены только для исполнения этого чрезвычайного поручения. Думали, думали и наконец нашли, что в настоящем случае всего удобнее будет заменить Вену Александро-Невской лаврой. Туда на ночлег к монахам в субботу, 29 июня, и отправился маркиз Ботта, и оттуда, в воскресенье утром, как будто приехав прямо из Вены, он имел торжественный въезд в Петербург, а в понедельник была назначена ему аудиенция у императрицы для формального сватовства.

Сватовство это происходило с большой торжественностью в присутствии всего двора. После длинной речи, сказанной послом императрице, великий канцлер граф Головкин⁴¹ и князь Черкасский ввели принцессу в аудиенц-залу, и когда принцесса, расстроенная и бледная, стала перед императрицей, то последняя объявила, что дала своё согласие на брак своей племянницы с принцем Антоном Брауншвейгским.

Слова эти были роковым приговором для Анны. Она с плачем бросилась на шею тётке. Заливаясь слезами и сильно дрожа, крепко прижалась к ней. Несмотря на это, императрица некоторое время сохраняла холодный, важный вид; но наконец и она не выдержала: из глаз Анны Ивановны выступили слёзы, и она с заметной нежностью стала целовать свою племянницу в лицо и в голову. Несколько минут длилась эта сцена, не особенно, впрочем, поразившая своей неожиданностью придворных, знавших уже давно недружелюбные отношения невесты к жениху. Затем императрица, слегка отстранив от себя Анну, явилась снова перед присутствующими недоступной, по-видимому, ни жалости, ни состраданию. Начались поздравительные речи посла, обращённые сперва к императрице, а потом к принцессе. Печально склонив голову, Анна вовсе не слушала напыщенного красноречия маркиза и, казалось, совершенно бессознательно исполняла всё, что требовал от неё этикет и следовавший за помолвкой обряд обручения. Быть может, в это время в мыслях её мелькал пленительный облик Линара, и сравнение с ним принца ещё сильнее волновало её.

⁴⁰ Речь идёт об австрийском посланнике маркизе Антонии Ботта-де-Адорно (1693—1745). Ботта с особенной настойчивостью хлопотал о бракосочетании принца Антона Ульриха с Анной Леопольдовной, надеясь, посредством этого союза, доставить венскому кабинету преобладание при русском дворе.

⁴¹ Михаил Гаврилович Головкин (ок. 1700—1756), сенатор, действительный тайный советник. В кабинете министров «курировал» вопросы внутренней политики.

Обручение кончилось. Цесаревна Елизавета первая подошла к принцессе, чтобы поздравить её, и громко заплакала⁴². Императрица взяла за руку Елизавету и отвела её в сторону. Закрыв лицо платком, цесаревна продолжала рыдать, и слёзы её в эти минуты могли быть непритворны: сама Елизавета могла любить только без принуждения. Она высоко ценила свободу женщины и, забывая на этот раз в принцессе Анне свою соперницу по русской короне, искренне жалела о ней, как о девушке, приневоленной к браку.

Начались церемониальные поздравления. Жених, пышно разодетый в светлый шёлковый кафтан, великолепно расшитый золотом, с волосами льняного цвета, завитыми в крупные локоны, распущенные по плечам, стоял подле невесты. Он пытался утешить свою невесту, хотел было взять её за руку, но принцесса быстро вырвала её и гневно посмотрела на растерявшегося принца, который в эту минуту представлял из себя и жалкую и смешную фигуру⁴³.

По окончании поздравлений государыня удалилась в свои покои, а собрание разъехалось по домам, чтобы готовиться к последовавшей свадьбе.

В среду, 3 июля, ранним утром со стен Петропавловской крепости и валов Адмиралтейства пушечные выстрелы возвестили жителям Петербурга о имеющем быть в этот день браке принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Толпы народа со всех сторон повалили по улицам города, пустым и тихим в обыкновенное время. Старые и малые, мужчины и женщины спешили занять более удобные места на всём протяжении от дворца до Казанского собора, где должно было совершиться бракосочетание. Принца перевезли в собор спозаранку, без всякой, впрочем, пышности, которой должен был отличаться поезд невесты. Казанский собор, только что отстроенный в ту пору на сумму, пожертвованную императрицей, находился на том же месте, где и нынешний. Он считался придворной церковью, но был невелик и чрезвычайно невзрачен; на одном конце этого продолговатого строения, не отличавшегося ничем от обыкновенного одноэтажного каменного дома, была поставлена прямая четырёхсторонняя колокольня в виде каланчи, с небольшой остроконечной крышей. На соборе не было ещё купола и никаких архитектурных украшений.

Между тем процессия от Зимнего дворца шла набережной к Летнему дворцу и оттуда по Большой улице через Зелёный мост на Невскую перспективу. От Летнего дворца до церкви по обеим сторонам дороги, по которой двигалась процессия, стояла вся гвардия и напольные полки с неумолкаемой музыкой.

– Едут! Едут! – загудело вдруг в толпе, смыкавшейся всё плотнее и плотнее и сдерживаемой полицейскими драгунами.

Среди этих возгласов показались прежде всего великолепные кареты знатных персон. Впереди каждой кареты шло по десяти ливрейных лакеев, а при некоторых каретах, кроме лакеев, были скороходы и ряженные, напоказ и на потеху народу. Тут мелькали и негры, и испанцы, и турки, и самоеды, и пр. и пр.

За тянувшимися длинной вереницей каретами знатных персон следовала карета принца Карла, младшего сына герцога Курляндского, предшествуемая двенадцатью лакеями, четырьмя скороходами, двумя гайдуками и двумя дворянами, ехавшими верхом. При такой же обстановке ехал следом и старший сын герцога Пётр – жених, отвергнутый принцессой Анной.

– Глядь! Глядь! – вдруг крикнул какой-то мальчуган своему товарищу, показывая пальцем на раззолоченную карету, – вишь ты, какие звери и птицы намалёваны... Важные какие!

Действительно, на дверцах приближавшейся кареты виднелся громадный герб, а в нём под княжеской шапкой и герцогской мантией в большом щите были изображены золотые львы и серебряные олени – гербы Курляндии и Семигалии. В малом же щите герба был чёрный ворон, сидящий на пне с зелёной веткой, – это был родовой герб Биронов. Вверху этого щита

⁴² Елизавета Петровна весьма искусно умела скрывать свои истинные чувства к тому или иному человеку.

⁴³ Отзывы леди Рондо. (Примечание автора)

виделся в золотом поле вылетающий до половины русский двуглавый орёл, прибавленный в герб Бирона императрицей в знак особенного её благоволения к герцогу, а в другой боковой части маленького щита была буква А, в память короля польского Августа III, признавшего Бирона герцогом Курляндским. Сквозь букву А, украшенную королевской короной, был продет золотой ключ, знак обер-камергерского звания, которое Бирон удержал за собой, сделавшись даже владетельным герцогом.

Пока мальчуганы зазевались на львов, оленей, ворона и орла, прочие зрители не без страха и не без ненависти посматривали на того, кто ехал в этой великолепной карете. Насупись, неподвижно сидел в ней герцог Курляндский, блиставший алмазами и золотом. Герцогу предшествовали двадцать четыре лакея, восемь скороходов, четыре гайдука и столько же пажей. Все они шли пешком. Кроме них перед каретой герцога ехали верхами его шталмейстер, маршал и два камергера, из которых за каждым следовало несколько ливрейных слуг.

Каретой герцога как бы замыкался отдельный поезд его самого и его сыновей. На некоторое время произошёл перерыв церемонии, и толпа, в ожидании дальнейшего зрелища, принялась толковать и пересуживать. Крики, визги и брань стояли над нею. Но вот со стороны дворца раздались громкие, как будто радостные, возгласы; послышался раскат пушечного выстрела, и в заколыхавшейся толпе заходил говор: «Сама едет!»

Теперь перед глазами зрителей стали последовательно двигаться сорок восемь слуг, двадцать четыре пажа с их наставником, бывшим на коне, камергеры верхами, каждого из них сопровождал скороход, державший в поводу лошадь, и два конных лакея с подручными лошадьми; дворяне верхом, тоже в сопровождении скороходов и ливрейных слуг с подручными лошадьми; обер-шталмейстер с огромным конюшенным штатом, егермейстер со всей придворной охотой; унтер-маршал и обер-гофмаршал с жезлом. Яркие цвета, серебро и золото рябили и резали глаза толпы.

Но вот и экипаж императрицы – раскинутая на две половины карета, ослепительно блиставшая при ярком летнем солнце густой позолотой, запряжённая восемью белыми конями в золотой упряжи и с пучками белых страусовых перьев над их головами. Толпа ахнула.

На первом месте, на заднем сиденье кареты, сидела императрица, напротив неё – невеста.

Сановитая фигура Анны Ивановны как нельзя более подходила издали для торжественных церемоний. В ней, казалось, воплощалось могущество женщины, которая легко могла носить тяжёлую шапку Мономаха. Величаво и самоуверенно посматривала Анна на покорную перед ней толпу и по временам лёгким наклоном головы удостоивала отвечать на приветственные клики своих верноподданных. Но если представительная наружность Анны Ивановны производила сильное впечатление на толпу, то на этот раз императрица не поражала зрителей особенным великолепием своего убранства: никаких драгоценных камней не сияло на ней; они были заменены одним только жемчугом, резко выдававшимся своей белизной на тёмном фоне и золотом шитье её робы. Совершенную противоположность императрице представляла невеста. Грустная, как будто бессильная и беспомощная, сидела она, потупив задумчивые глаза. Казалось, она не видела и не слышала ничего, что делалось около неё. Но зато как ослепителен был её подвенечный наряд! На ней было платье из блестящей серебряной ткани; завитые её волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантовыми нитями; на голове у неё была небольшая корона, осыпанная бриллиантами, и, кроме того, множество бриллиантов было укреплено в её чёрных, напудренных на этот раз волосах. От блеска драгоценных камней лицо её, казалось, было окружено каким-то радужным сиянием. Толпа, глядя на невесту, только дивилась и ахала. После проезда императрицы остальная часть поезда, в которой находились цесаревна Елизавета, герцогиня Курляндская и супруги знатных персон, по своей относительной пышности не бросались уже в глаза толпы, которая теперь стремительным потоком хлынула к Казанскому собору, чтобы дожидаться окончания брачной церемонии, которую совершал архиепископ Вологодский Амвросий.

Пушечные залпы с крепости и Адмиралтейства, а также из орудий, поставленных на площади перед собором, и беглый ружейный огонь войск возвестили окончание брачного обряда...

Дождавшиеся окончания церемонии увидели ту же самую процессию, какую видели прежде, с той только разницей, что новобрачные сидели теперь в одной карете с императрицей, напротив неё, и можно было заметить, что молодая, убитая горем, не обращала никакого внимания на своего супруга.

Во дворце принесены были поздравления государыне и принцессе сперва знатными лицами, потом иностранными министрами, а затем и всеми присутствовавшими. Императрица в этот день обедала за особым столом, за которым кроме неё сидели только новобрачные и цесаревна Елизавета. После обеда все присутствовавшие при торжестве вернулись домой чрезвычайно утомлённые, так как торжество началось с 9 часов утра, а обед кончился только около 8 часов вечера.

VII

Свадьба принцессы Анны Леопольдовны сопровождалась блестящими празднествами. В самый день брака был при дворе бал, начавшийся в 10 часов и окончившийся около полуночи. После бала императрица повела молодую в её комнату. При этом за государыней должны были следовать только немногие заранее назначенные ею лица: герцогиня Курляндская, две придворные русские дамы и жёны министров, уполномоченных от иностранных государей, состоявших в родстве с принцем Антоном. Войдя в уборную молодой, императрица приказала герцогине и знакомой уже нам леди Рондо раздеть принцессу. Дамы сняли с молодой тяжёлый и пышный наряд и надели на неё капот из белого атласа, отделанный великолепными брюссельскими кружевами. После этого императрица поручила герцогине и леди Рондо пригласить к принцессе её мужа, который и явился переодетый уже в домашнем платье, сопровождаемый одним только герцогом Курляндским. Когда принц вошёл в уборную, императрица поцеловала его и племянницу, пожелала им счастья и, сделав им наставление, чтобы они жили между собою дружно и мирно, весьма нежно распрощалась с ними и отправилась в Летний дворец.

В среду императрица дала в этом дворце ужин в честь молодых. На этом собрании дамы поражали великолепием своих нарядов, в особенности же новобрачная, на которой было платье из золотой ткани, с выпуклыми по ней цветами, отделанное пурпуровой бахромой; из такой же золотой ткани был шит и костюм принца Антона. Молодые, цесаревна Елизавета и семейство герцога Курляндского сидели во время ужина за особым столом, а императрица, прохаживаясь по зале, освежавшейся устроенным в ней фонтаном, подходила к гостям и приветливо разговаривала с ними. Ужин отличался изысканностью и обилием яств, а также поразительной роскошью обстановки.

– Уж больно утомилась я, – говорила императрица окружающим её лицам. – Надобно и мне самой отдохнуть, да и другим дать покой. – И по воле государыни днём всеобщего отдыха был назначен четверг.

Более всех, несмотря на свою молодость, истомилась Анна Леопольдовна; для неё, нелюбимки по природе и выросшей в уединении, многочисленное общество всегда было в тягость. Теперь же такая тягость чувствовалась ею ещё сильнее. Для неё невыносимо было являться на всех торжествах на первом плане, привлекать к себе любопытные взгляды всех присутствовавших и выслушивать льстивые поздравления с таким событием в её жизни, которое она считала вечным для себя несчастьем. Но делать было нечего – приходилось веселиться поневоле или, по крайней мере, хоть показывать весёлый вид. С глубоко затаённым в душе желанием – встретить хоть в ком-нибудь выражение участия к своей печальной судьбе, посматривала вокруг себя новобрачная принцесса, но на лицах, окружавших её, она встречала только радостные, приторные улыбки, ещё более раздражавшие её. Только однажды в толпе гостей заметила она задумчиво смотревшего на неё какого-то молодого человека, и ей показалось, что только один он в этой весёлой и шумной толпе, блиставшей и бриллиантами, и золотом, и серебром и разодетой в шёлк, бархат и кружева, сочувствует ей, понимает гнетущее её горе. Теперь с Анной Леопольдовной случилось то, что часто бывает и с другими: иногда незнакомые между собой люди, встретившись первый раз и не обменявшись ещё друг с другом ни одним словом, как будто понимают друг друга и чувствуют какое-то невольное влечение один к другому. Такое чувство испытывала теперь на себе Анна Леопольдовна: ей казалось, что задумчивость молодого, не знакомого ей ещё человека происходила под впечатлением того, что он видел, а ласковый его взгляд, внимательно и как-то заботливо следивший за принцессой, убеждал её в справедливости такой догадки. Она нарочно прошла мимо него и приветливо взглянула на него. Он заметно смешался, выронил из рук свою треугольную шляпу и, поспешно схватив её с полу, скрылся в толпе, не решаясь уже показаться в этот вечер на глаза принцессе.

Замеченный Анной Леопольдовной придворный кавалер не произвёл, впрочем, на неё никакого впечатления своей не отличавшейся ничем наружностью; он обратил на себя внимание потому только, что, как показалось ей, понимал её тяжёлое положение и должен был в душе сочувствовать её страданиям. Принцесса в настоящем случае не обманывалась: этот молодой человек был страстный поклонник её, как женщины, и радостно ожидал того дня, когда, быть может, императорская корона засияет на её голове.

Отдохнув один день, двор снова принялся веселиться, и в пятницу, после полудня, в залах Зимнего дворца открылся придворный маскарад. Несмотря на летнюю пору, когда так легко было устроить настоящий сельский праздник, императрица желала видеть такой праздник в стенах своего дворца, и потому в длинной его галерее было устроено что-то вроде луга со столами и скамейками, покрытыми цветами. Главной же особенностью этого маскарада были четыре кадрили; из них каждая была составлена из двенадцати пар. В первой кадрили явились новобрачные. Как они, так и прочие участницы и участники в этой кадрили были одеты в домино оранжевого цвета⁴⁴ с маленькими такого же цвета шапочками на головах, с серебряными кокардами и с небольшими воротничками из кружев, завязанными лентой, вытканной из серебра. В составе этой кадрили находились со своими супругами те иностранные министры, государи которых были в родстве с принцем или с принцессой.

Во главе второй кадрили были цесаревна Елизавета и принц Пётр Курляндский в зелёных домино с золотыми кокардами, и все участвовавшие в этой кадрили были одеты так же, как принцесса и принц. Предводителями третьей кадрили были герцогиня Курляндская и Салтыков, родственник императрицы⁴⁵. Кадриль эта имела голубые домино с розовыми кокардами, и, наконец, участвовавшие в четвёртой кадрили, – во главе которой явились принцесса Гедвига, дочь герцога Курляндского, и его второй сын принц Карл, – были одеты в домино красного цвета с зелёно-серебряными кокардами. Маскарад окончился роскошным ужином. Императрица, как внимательная хозяйка, прохаживалась целый вечер между гостями, обращаясь к ним то с ласковым словом, то с благосклонной шуткой. На всех придворных собраниях принц Антон-Ульрих, несмотря на своё новое, упроченное уже положение вследствие брака с племянницей императрицы, по-прежнему представлял из себя ничтожную личность; он заметно терялся не только при обращении к нему государыни, но и при приближении герцога. С плохо скрываемой досадой смотрела Анна Леопольдовна на своего робкого и неловкого супруга, и в обидную для него противоположность в воображении принцессы являлся блестящий граф Линар, изящный, находчивый, с смелым взглядом, твёрдой поступью и мужественной осанкой.

При бракосочетании Анны Леопольдовны не было соблюдено обычаев, сопровождавших ещё в ту пору свадьбы даже в домах знатных русских семейств, и в народе ходил говор, что от такой не по-русски справленной свадьбы ждать добра нечего. Исполнен был только один старинный обычай, а именно: когда в субботу государыня обедала в покоях новобрачной, то молодые прислуживали ей за столом как самой почётной гостье. После обеда было оперное представление в дворцовом театре.

Ряд празднеств окончился маскарадом в саду Летнего дворца. Сад был красиво иллюминирован, и в заключение торжества на берегу Фонтанки был сожжён великолепный фейерверк, состоявший из множества бомб, ракет и прочих увеселительных огней, а также из вензелей с аллегорическими изображениями, подходившими к тому случаю, для которого он был приготовлен. В течение целой недели на Неве стояли яхты, пёстро разукрашенные флагами, которые с наступлением темноты заменялись разноцветными фонарями. Для народа перед дворцом были устроены фонтаны из белого и красного вина, а также были выставлены жареные быки

⁴⁴ Домино – маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном.

⁴⁵ Анна Ивановна по матери принадлежала к древнему роду Салтыковых.

и разные другие яства. Сама императрица бросала с балкона в толпу пригоршни серебряных денег.

Сохранилось до нашего времени известие о том впечатлении, какое должны были производить на посторонних и невольный брак Анны Леопольдовны, и происходившие по поводу этого блестящие шумные торжества. «Всё это делалось, – писала леди Рондо своей приятельнице в Лондон, – для того, чтобы соединить двух особ, которые, как я убеждена, искренне ненавидят друг друга; думаю, что это можно сказать с уверенностью, по крайней мере, насчёт принцессы: она явно и резко выказывала это в продолжение всех праздников, бывших в течение недели».

Молодая чета поселилась на постоянное житьё в одном дворце с императрицей, но на одной половине, обращённой окнами на нынешнюю Александровскую площадь. Сравнительно с прежним Анна Леопольдовна не пользовалась большей свободой. Причиной этого был, впрочем, не супруг принцессы, в глазах которой он не имел решительно никакого значения, но подозрительность императрицы и герцога держала молодых в отчуждении от общества. Впрочем, и сама Анна не искала никаких развлечений. Она желала прежде всего уединения, ограничивая своё общество небольшим кружком близких к ней лиц, и постоянной, а вместе с тем и более всех любимой собеседницей была по-прежнему Юлиана Менгден, приобретающая над нею всё более и более влияния и употреблявшая его не в пользу принца. Двор принцессы и принца был составлен из немногих лиц, в число которых вскоре после свадьбы был назначен в должность адъютанта и тот молодой человек, которого однажды заметила принцесса, и которого она считала своим доброжелателем. Новый адъютант принца назывался Грамотин⁴⁶; он считался серьёзным и деловым человеком, почему и заведовал канцелярией своего начальника. Теперь Анне Леопольдовне приходилось часто встречаться с ним, когда он являлся с докладом к принцу. Но первое впечатление, произведённое на неё Грамотиным, несколько изгладилось: принцесса относилась к нему без особого благоволения, заметив в нём особенное старание угождать принцу и заискивать его благосклонность. Вскоре принцесса дошла до того, что перестала обращать на Грамотина внимание, а между тем он всё сильнее и сильнее влюблялся в неё, мечтая о том, что, быть может, придёт пора, когда ему представится случай пожертвовать для неё своей жизнью.

Молодая чета жила очень не ладно между собой, и, по всей вероятности, неприязненное расположение Анны Леопольдовны к мужу выражалось бы ещё резче, если бы только её не сдерживала тётка, которая постоянно вмешивалась в их супружеские раздоры и, ввиду покорности принца – качества, признаваемого со стороны императрицы одной из главных добродетелей, – принимала обыкновенно его сторону, жуя принцессу и внушая ей мысль о необходимости уступчивости мужу. Принц находил, впрочем, для себя поддержку и с другой стороны. Венский двор вскоре после его брака с принцессой Анной начал сильно настаивать, чтобы новобрачный «в уважение теперешнего его родства и огромных способностей» получил право заседать в кабинете и в военной коллегии. Такое требование чрезвычайно сердило герцога Курляндского, относившегося к принцу с крайним пренебрежением.

Однажды герцог, проводивший часть лета во дворце, находившемся в Летнем саду, прогуливался по аллеям этого сада, и при повороте на одной из них он встретил секретаря саксонского посольства Пецольта. Герцог пригласил его пройтись по саду вдвоём. После разговора о том о сём зашла между герцогом и дипломатом речь о политических делах и коснулась между прочим покровительства, оказываемого венским двором принцу Антону.

– Венский двор, – заговорил раздражённым голосом герцог, давая полную волю своему вспыльчивому нраву, – считает здесь себя как дома и думает управлять делами в Петербурге, но он сильно ошибается! Если же в Вене такого мнения, что у принца Брауншвейгского пре-

⁴⁶ В документах, приводимых в исторических исследованиях, значится полковник Пётр Грамотин.

красные способности, то я готов уговорить императрицу, чтобы принца совсем передать венскому двору и послать его туда, так как там настоят надобность в подобных мудрых министрах.

Пецольт, как тонкий дипломат, приятно улыбался в угоду герцогу, как бы поощряя, тем самым его расхвалившееся остроумие.

– Каждому известен принц Антон Ульрих, – продолжал язвительно герцог, – как человек самого посредственного ума, и если его дали в мужья принцессе Анне, то при этом не имели и не могли иметь другого намерения, кроме того, чтобы он произвёл на свет детей, но и на это он не столько умён – принцесса до сих пор держит его от себя в почтительном отдалении. Если же у него будут дети, – добавил герцог, – то надобно только желать, чтобы они не были похожи на него⁴⁷.

Говоря эти колкости насчёт принца Антона, герцог в некотором отношении был прав. Императрица долго ожидала рождения своего наследника, так как Анна Леопольдовна только в августе 1740 года родила принца, наречённого при крещении Иоанном; в известительном манифесте об его рождении новорожденному не было придано отчества, как будто он даже и не считался сыном принца Антона.

Анна Ивановна, несмотря на суровость своего характера, выказывала к новорожденному Иванушке особенную нежность. Тотчас после рождения принц был перенесён в собственные покои государыни и был там оставлен под попечительным её надзором. Она заботливо навещала его во всякое время дня; пеленали и распелёвывали его не иначе, как только в присутствии герцогини Курляндской, принявшей на себя заботы о новорожденном, между тем как Анна Леопольдовна была устранена от всякого за ним ухода. По случаю рождения принца слышался всюду торжественный грохот пушек, раздавался колокольный звон, и храмы оглашались молебным пением об его благоденствии и многолетию.

⁴⁷ Подлинные слова Бирона. (Примечание автора)

VIII

Ещё весной 1740 года стала разноситься в Петербурге молва о том, что здоровье государыни слишком ненадёжно. Говорили об этом, впрочем, между собою только близкие друг с другом люди, да и то с большой осторожностью. Между тем лазутчики герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли повсюду: они втирались в дома, забирались в присутственные места, шлялись по кабакам, рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, подслушивая, о чём толкует народ и вызывая сами людей словоохотливых на опасные речи, привлекавшие болтливых на расправу в тайную канцелярию. В числе таких соглядатаев был даже кабинет-секретарь Яковлев, одевавшийся для шпионских прогулок в старый мужицкий кафтан. Впрочем, осторожность, к которой по привычке уже в Петербурге, не доставляла теперь лазутчикам слишком большой наживы, так что, по-видимому, всё обстояло благополучно, но тем не менее в воздухе как будто чуялась близость какой-то перемены. Это было затишье перед бурей.

Лето этого года было превосходное. По своему обыкновению, императрица провела его в Петергофе; там она несколько поправилась, но по возвращении к осени в город болезнь её стала заметно усиливаться, и к прежним недугам прибавилась ещё постоянная бессонница.

– Целые ночи напролёт глаз не сомкну и мучаюсь, – жаловалась Анна Ивановна и докторам, и приближённым к ней лицам, рассказывая им о своём нездоровье.

Действительно, бессонные ночи были для неё мучительны. Припоминая в это томительное время прошлое, она терзалась, когда приходили ей на мысль казни Долгоруких и Волынского; ей чудились их окровавленные призраки; но тщетно старалась она отогнать от себя страшные грёзы. Душевное её расстройство было чрезвычайно сильно, и совесть напомнила ей немало грехов, принятых ею на душу и ведением, и неведением.

Слухи об упадке сил императрицы, хоть и смутные, безостановочно выходили из дворца и распространялись по городу, а один необыкновенными загадочный случай подал повод к усиленномуговору о близкой кончине государыни, и даже вовсе не суеверные люди увидели теперь несомненное предзнаменование этого события.

В один из последних дней сентября сильный морской ветер быстро и безостановочно гнал по небу тяжёлые тёмные тучи. Непогода и грязь задерживали жителей Петербурга по домам, и потому к ночи и без того уже неживленные улицы города сделались совершенно пусты. Нева с шумом катила свои чёрные волны, выступая из берегов с чрезвычайной быстротою, а часто повторявшиеся со стен Петропавловской крепости и с Адмиралтейства пушечные выстрелы – эти предостерегательные сигналы, установленные ещё Петром Великим, – оповещали обитателей столицы об опасности, угрожавшей им от наводнения.

В эту ночь едва ли кто-нибудь в Петербурге лёг спать. Все ожидали, что, быть может, придётся перебираться на вышки и чердаки. В ту пору наводнения в Петербурге, при несуществовании ещё Обводного канала и при невозможности отступления воды в подземные трубы, что бывает теперь, происходили чрезвычайно быстро, и Нева, не сдерживаемая ещё гранитными берегами, заливала прибрежные местности даже не при сильном морском ветре. При Петре I наводнения были очень часты, но они не только не пугали водолюбивого царя, но даже, напротив, забавляли его. Так, он, сообщая в одном из своих писем к князю Меншикову о бывшем в Петербурге наводнении, когда вода в комнатах царского домика доходила до 21 дюйма, а по улицам плавали в лодках, – писал: «Зело было потешно, что люди на кровлях и на деревьях будто во время потопа сидели, не точию (не только) мужики, но и бабы».

Петербургские жители и жительницы не слишком, однако, были рады предстоящей им теперь подобной ночной потехе и такому не слишком удобному сидению. Одни из них тоскливо поджидали близких им людей, не вернувшихся ещё домой; другие вытаскивали из погребов съестные запасы, укладывали свои пожитки и начинали переносить их в верхние жилья и

на чердаки; третьи готовили лодки и ялики, чтобы перебраться на них в местности города, не залитые ещё водою, когда же среди ночной тьмы и воя бури вдруг, точно молния, вспыхивал на небе красноватый блеск выстрела и следом затем грохотала пушка, то одни набожно крестились, а другие боязливо взглядывали друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше? Между тем ветер продолжал бушевать с такими сильными порывами, что, казалось, грозил не только вырвать оконные рамы, но и разметать деревянные домишки, из которых тогда состоял почти весь Петербург. С крыш летели сорванные ветром черепицы, доски и железные листы, также сыпались обломки кирпичей от опрокинутых дымовых труб.

В эту пору жильцы тех домов, которое выходили окнами на Адмиралтейскую площадь, были поражены странным зрелищем. В окна этих домов вдруг ударил какой-то мигающий багровый свет, казавшийся отблеском начинающегося пожара. Тревога ещё сильнее овладела увидевшими этот свет: ясно было, две могучие силы природы – вода и огонь – соединились теперь вместе для беспощадного истребления и людей, и их достояния. Все кинулись к окнам, и тогда изумление глядевших достигло крайних пределов.

Багровый свет выходил из-под арки Адмиралтейства, стоявшей на том же месте, где и нынешняя. В то время здание Адмиралтейства имело такой же средний фасад, как и теперь, с высоким над ним шпилем; оно было окружено валами и рвами, в нём хранились припасы и снаряды морского ведомства, и с сумерек все ворота Адмиралтейства запирались наглухо, так что не было ни входа туда, ни выхода оттуда. Свет под аркой усиливался всё более и более, и из растворённых ворот медленно начали выступать факельщики. Выйдя из-под арки, они брали влево к дворцу; ветер сильно раздувал пламя факелов, и вскоре вся площадь озарилась каким-то зловещим багровым светом.

Непроглядная тьма бурной сентябрьской ночи не позволяла рассмотреть, что следовало в самом недалёком расстоянии за факельщиками, тянувшимися длинной вереницей. Несомненно, однако, было, что по площади двигалась похоронная процессия. Но кого же могли хоронить так пышно, судя по множеству факелов? Никто из людей известных не умирал в это время в Петербурге, да никто из них и не жил в Адмиралтействе. Притом и похороны ночью не были в обычае.

Несмотря на страшную непогоду, иные выскочили сами на площадь, иные послали прислугу, чтобы узнать, кого хоронят. Бросившиеся опроретью на разведку очутились по колено в воде, залившей площадь; ветер то сшибал их с ног, то крутил их на месте, срывая с голов шляпы и шапки. Если же некоторые, весьма, впрочем, немногие, молодцы и побежали смело вперёд, несмотря на все препятствия, то они не могли догнать процессии: она отдалялась от них по мере их приближения, и они видели только, как факельщики входили в ворота дворца, обращённые на площадь. После полуночи, часа в два, ветер стал стихать, и вода быстро пошла на убыль. На другой день утром весь город толковал не столько о наводнении, сколько о загадочных похоронах. Рассказывали, что погребальная процессия, войдя в одни ворота дворца, прошла через двор и затем вышла в другие ворота на Неву и, взяв направо, следовала вдоль берега реки, но никто не мог разузнать, где она скрылась, а также никто не имел возможности осведомиться о том, кого хоронили. Рассказывали тоже, будто сама императрица была очевидицей этого явления, которое потрясло её вконец, так как она признала в нём предвестие своей смерти⁴⁸.

При суеверном настроении умов распространился и другой ещё диковинный рассказ⁴⁹. Толковали, будто императрице доложили, что по ночам в тронном зале бывает свет, но что туда в это время без её разрешения никто войти не смеет. Императрица пожелала сама узнать, в чём

⁴⁸ Очевидцем этого видения был корреспондент С. – Петербургской академии наук Шретер. (Примечание автора).

⁴⁹ Вероятно, многим приходилось слышать этот рассказ, с той, впрочем, разницей, что иногда его относили к Анне Ивановне, а иногда – к Екатерине II (Примечание автора).

дело, и вот однажды ночью, когда свет появился в окнах тронной залы, она, в сопровождении дежурного своего штата и со взводом дворцового караула при заряженных ружьях, отправилась к дверям залы и приказала отворить их. Ужас овладел всеми, когда увидели, что на троне сидит сама государыня в роскошном одеянии, в порфире и с короною на голове. Императрица, как рассказывали, приказала солдатам сделать общий залп по своему двойнику. Зазвенели разбитые пулями зеркала и оконные стёкла, и когда рассеялись клубы порохового дыма, то привидение медленно встало с трона, прошло мимо императрицы и, погрозив ей пальцем, исчезло бесследно в зале, мгновенно охваченной непроницаемым мраком.

Несмотря на развивавшийся всё более и более недуг, императрица бодрилась и оставалась на ногах, но 6 октября, когда она садилась за стол, ей сделалось так дурно, что её без памяти отнесли на постель. Первый медик императрицы, Фишер, сказал тогда герцогу, что это дурной признак и что если болезнь государыни будет усиливаться, то надобно опасаться, что вскоре вся Европа наденет траур. Другой же врач государыни, португалец Антоний Рибейро Санхец, считал болезнь её ничтожной. Императрица, однако, не доверяла этим придворным врачам и через комнатную свою девушку Авдотью Андрееву тайком советовалась с врачом Леистениусом, который приказал передать императрице, чтобы она насчёт своей болезни не имела никакого опасения и принимала бы только красный порошок доктора Штала, который ей непременно поможет.

По возможности и теперь старались скрывать действительную опасность, угрожавшую государыне. Хотя знатные особы обоюго пола и члены дипломатического корпуса приезжали каждый день во дворец, чтобы согласно этикету того времени осведомиться о здоровье её величества, но эти посещения имели вид приёмов обыкновенных гостей, а не казались приездами лиц, заботившихся узнать о положении больной. Напускная весёлость поддерживалась во дворце, и съезжавшиеся туда гости толковали о том о сём, и только вскользь, в неопределённых выражениях, заявлялось им о состоянии здоровья императрицы; бюллетени же не были ещё в то время в обычае. Когда же однажды приехал во дворец французский посланник маркиз де ла Шетарди⁵⁰, то обер-гофмаршал, поблагодарив его за внимание, оказываемое государыне, предложил ему развлечься картами с принцем Антоном, который тотчас же и устроил партию. Вследствие всего этого о здоровье императрицы ходили самые разноречивые толки, а между тем уже близился час её кончины.

Томительные дни переживала в это время Анна Леопольдовна: неизвестность бывает почти всегда гораздо мучительнее, нежели какой бы то ни было печальный исход, и это испытывала теперь молодая принцесса.

Не предаваясь властолюбивым замыслам, Анна Леопольдовна тревожно ожидала решительного перелома в своей жизни: она, по воле своей тётки, или могла сделаться самодержавной её преемницей и затем свести давние счёты со своим притеснителем герцогом Курляндским, или же остаться в прежней тяжёлой от него зависимости, потеряв притом единственную свою покровительницу в лице государыни. Ничтожество её мужа проявилось в это время во всей полноте: он ходил как потерянный и безоговорочно исполнял всё, что приказывали ему не только герцог, но и обер-гофмаршал граф Левенвольд. Принцесса волновалась всё сильнее и сильнее, смотря на своего робкого, ненаходчивого и бесхарактерного супруга.

Обыкновенно каждый человек мерит и хорошие, и дурные качества другого по своей собственной мерке, и теперь в голове Анны Леопольдовны ещё чаще стала мелькать мысль, что жизнь её могла бы сложиться совершенно иначе, если бы она шла рука об руку с любимым ею, смелым и решительным человеком, и таким человеком казался ей граф Линар. Несколько лет разлуки не изгладили его из памяти принцессы. Она не забывала, что Линар из любви к

⁵⁰ Речь идёт об одном из опытнейших французских дипломатов, направленном Версалем в Россию с целью возвести на русский престол дочь Петра I Елизавету.

ней, – в ту пору загнанной и беспомощной девушке, – решался на такие отважные поступки, которые могли навлечь на него страшную беду и расстроить всю его будущность. Ей казалось, что оскорблённая государыня и разгневанный герцог, узнав о тайных его сношениях с Анной, могли самовластно поступить с Линаром так, чтобы он исчез совершенно бесследно в далёком, никому не известном заточении. Всё это придавало Линару в глазах молодой, влюблённой в него женщины особенную цену, и как сильно билось сердце её при воспоминании о том, кто дал ей почувствовать первую любовь с её мечтами и увлечениями! Ей живо припомнились теперь и непринуждённое обращение Линара с императрицей, его бойкость и находчивость в придворных собраниях, урывочные, но полные оболъщения беседы с ним с глазу на глаз и, наконец, та горделивая неуступчивость перед герцогом, которую не раз выказывал Линар, отвечая на грубые выходки временщика тонкими остроумными колкостями. Анна не забывала, что при дворе один только Линар умел держать герцога, зазнававшегося перед всеми, в таком почтительном положении, что они оба были друг с другом на равной ноге.

– Если бы на месте принца Антона был граф Мориц, то он повёл бы дело не так, как этот рохля, – думала Анна Леопольдовна, сравнивая Линара со своим мужем. – Тогда я не только была бы счастлива как женщина, но имела бы около себя надёжного защитника от всяких невзгод, – добавляла мысленно Анна.

Линар был, однако, далеко, и принцесса давно уже не имела о нём ни прямых, ни косвенных вестей. Мечты её о Линаре оставались несбыточными, а между тем действительность представляла для неё мало отрадного.

6 октября 1740 года определилось несколько будущее положение принцессы Анны Леопольдовны. В этот день сын её манифестом императрицы был объявлен наследником престола на случай кончины владеющей государыни. Распоряжение это было сделано ею крайне неохотно, после того ужасного припадка, который возбудил сильные опасения за жизнь Анны Ивановны. Слишком ревнивая к своей власти, она до последней крайности медлила с назначением принца Ивана своим наследником, отзываясь, что «ежели-де его объявить великим князем, то уже всяк будет больше ходить за ним, нежели за нею».

Разумеется, что положение матери царствующего императора должно было бы быть самое блестящее, но теперь корона переходила к младенцу, лежавшему ещё в пелёнках. Другое лицо должно было править за него государством, и при этом принцесса-мать сталкивалась с опасным соперником – герцогом Курляндским, перед могуществом которого и собственное её бессилие, и ничтожество её мужа были слишком очевидны...

IX

Можно было подумать, что во дворце императрицы Анны Ивановны был назначен 17 октября 1740 года какой-то праздник. В этот день вечером к главному подъезду дворца подъезжали с разных концов города кареты и колымаги, из которых выходили пышно разодетые вельможи. Но слабое освещение дворцовых зал, блиставших обыкновенно во дни празднеств бесчисленными огнями люстр и кенкетов, господствовавшая во дворце тишина, озабоченные лица съезжавшихся туда вельмож, их перешёптывание между собой и осторожная ходьба указывали, что на этот раз вельможи собирались во дворец государыни не на весёлое пиршество. И точно, они спешили теперь туда вследствие извещения их придворными врачами о том, что императрица была при смерти. Собравшиеся в приёмной государыни сановники и царедворцы с тревожным ожиданием посматривали на двери, которые через ряд комнат вели в опочивальню государыни, откуда им должна была прийти весть о том, чем решилась судьба империи, а сообразно с этим и участь многих из них, так как, при известной перемене, одни из них могли ожидать для себя нового почёта и быстрого возвышения, тогда как другим предстоял при этом не только загон, но, быть может, и совершенное падение с добавкою к нему и конфискации, и дальнейшей ссылки.

Сломленная наконец давнишним и теперь сильно развившимся недугом, лежала на смертном одре Анна Ивановна, сохраняя ещё полное сознание. Обширная опочивальня её тускло освещалась двумя восковыми свечами, прикрытыми зонтом из зелёной тафты, и в этом полумраке в одном из углов комнаты ярко блестели в киоте⁵¹, от огня лампадки, золотые оклады икон, украшенные алмазами, рубинами, яхонтами, лалами, сапфирами и изумрудами. Иконы эти были наследственные благословения, переходившие от одного поколения к другому сначала в боярском, а потом в царском роде Романовых.

У одного из окон царицыной опочивальни стояли два главных врача императрицы, Фишер и Санхец; они вполголоса разговаривали между собой по-латыни, и по выражению их лиц нетрудно было догадаться, что всякая надежда на выздоровление государыни была уже потеряна и что они с минуты на минуту ожидали её кончины. В соседней со спальней императрицы комнате находился духовник Анны Ивановны, готовый напутствовать умирающую чтением отходной.

Около постели императрицы стояли: убитый горем герцог Курляндский, его жена с красными, припухшими от слёз глазами и Анна Леопольдовна. Всегда задумчивое и грустное лицо принцессы выражало теперь чувство подавляющей тоски. Опустив вниз сложенные руки и склонив печально голову, она как будто олицетворяла собой и беспомощность, и безнадёжность. Казалось, вся она сосредоточилась в самой себе, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг неё. Резкую противоположность с неподвижностью и сосредоточенностью принцессы представлял её супруг. Он, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу и подёргивая по временам плечами, то с каким-то тупым любопытством взглядывал на умирающую, то рассеянно смотрел на потолок и стены комнаты, то кидал недоумевающий взгляд на свою жену. Кроме этих лиц, в опочивальне императрицы находилась ещё любимая её камер-юнгфера Юшкова⁵² и одна комнатная девушка, безотлучно ходившая за государыней.

Среди тишины, бывшей в опочивальне государыни, послышался за дверью в соседней комнате сдержанный шум тяжёлых шагов. Герцог, стоявший около двери, быстро приотворил её и, делая знак рукой, чтобы приближавшиеся люди приостановились, подошёл к императрице и, нагнувшись к ней, спросил тихим голосом, позволит ли она явиться графу Остерману? Анна

⁵¹ Киот – остеклённый ящик или шкафчик для икон.

⁵² Юшкова Анна Фёдоровна, камер-фрау Анны Ивановны.

Ивановна движением головы выразила согласие, и тогда герцог повелительно указал глазами принцу Антону, чтобы он растворил двери. Принц исполнил приказание герцога, и четверо гренадёр от дворцового караула внесли в спальню государыни в креслах графа Андрея Ивановича Остермана, и она, напрягая свои силы, приказала, чтобы его посадили в изголовье её постели.

При появлении Остермана находившиеся около императрицы поспешили выйти из комнаты, и из всех бывших там прежде остались теперь герцог, принц и принцесса.

– Не угодно ли будет вам удалиться отсюда, – сказал сурово герцог принцу и с такими же словами, но только произнесёнными мягким и вежливым тоном, он обратился к Анне Леопольдовне.

Принц Антон не заставил герцога повторять приказание и, почтительно поклонившись ему, начал осторожной поступью, на цыпочках, выбираться из спальни. Но Анна Леопольдовна как будто не слышала вовсе распоряжения герцога: она оставалась неподвижно на том месте, где стояла.

– Я покорнейше прошу ваше высочество, – сказал ей с некоторой настойчивостью герцог, – отлучиться отсюда на короткое время: её величеству угодно наедине, в присутствии моём, переговорить с графом...

Анна не трогалась с места и только презрительным взглядом окинула герцога.

Императрица заметила происходившее между герцогом и своей племянницей и с сердцем начала говорить что-то, но не совсем внятно. Остерман догадался, в чём дело. Делая вид, что силится привстать с кресел, он обратился лицом к Анне Леопольдовне и почтительно сказал ей:

– Ваше высочество, её императорскому величеству угодно на некоторое время остаться только с его светлостью и со мной.

Принцесса порывисто бросилась к постели и, схватив руку тётки, крепко несколько раз поцеловала её и затем, не говоря ни слова, спокойно, тихими шагами вышла из комнаты.

– Ого! – подумал герцог, смотря вслед удалявшейся Анне Леопольдовне, – с ней, чего доброго, придётся повозиться.

Герцог, выпроводив всех, заглянул из предосторожности за обе двери и, уверившись, что теперь никто не может подслушивать, стал около кресла Остермана.

– Осмелюсь доложить вашему императорскому величеству, – начал нетвёрдым и прерывающимся голосом Остерман, – осмеливаюсь доложить по рабской моей преданности, что хотя Всевышний и не отнимает у верноподданных надежды на скорое выздоровление матери российского отечества, но что тем не менее положение дел теперь таково, что вашему величеству предстоит необходимость явить ещё раз знак материнского вашего попечения о благе под скипетром вашим управляемых народов.

– Ты, видно, хочешь сказать, Андрей Иванович, что настало надобность в моём завещании о наследстве престола и о регентстве?

– Никто не сомневается в выздоровлении вашего величества, – подхватил герцог, – но обстоятельства теперь таковы, что если вы, всемилостивейшая государыня, не объявите вашей воли, то впоследствии нас, лиц самых приближённых к вам, русские станут укорять в злых умыслах и не упустят обвинять в том, что мы, пользуясь случаем, хотели установить безначалие, с тем чтобы захватить власть в свои руки.

– Его светлость имеет основание высказывать перед вашим величеством подобные опасения, – заметил Остерман, вынимая бумагу из кармана.

– Какая у тебя это бумага? – спросила государыня Остермана.

– Завещание вашего императорского величества.

– А кто писал это?

Остерман приподнялся и, поклонившись, отвечал: «Ваш нижайший раб»⁵³.

Сказав это, Остерман начал читать завещание и когда дошёл до той статьи, по которой герцог Курляндский назначался регентом на шестнадцать лет, т. е. до совершеннолетия будущего императора, то Анна Ивановна спросила герцога: «Надобно ли тебе это?»

Герцог упал на колени у постели, целуя ноги императрицы, высказал ей ужасное положение, в какое он будет поставлен, если Всевышний, сверх ожидания, к прискорбию верноподданных, воззовёт к себе его благодетельницу прежде его самого. Он напоминал ей о своей безграничной преданности, о многих годах, проведённых с нею безотлучно, о сильных и неумолимых врагах, которых он нажил себе, слепо повинаясь её воле, об участи своего семейства, которое остаётся без всякой помощи, на произвол судьбы.

Остерман поддерживал слова герцога, пуская в ход своё красноречие.

– Подай мне перо, Эрнест, – сказала наконец императрица Бирону.

Герцог живо исполнил это приказание и стал поддерживать императрицу, которая приподнялась на постели, подписала дрожащей рукой бумагу, положенную перед нею Остерманом на маленьком столе, стоящем возле неё.

– Мне жаль тебя, герцог! – сказала императрица, бросив перо и отстраняя от себя рукою подписанную ею бумагу.

Слова эти сделались историческими, и после превратностей, постигших Бирона, прозорливые историки стали видеть в них пророчество о печальной судьбе герцога. Но кто знает, не были ли эти слова простым выражением скорби, навеянной на Анну Ивановну при мысли о вечной разлуке с таким близким человеком, каким был для неё этот любимец?

– Ты кончил всё, Андрей Иваныч? – спросила государыня Остермана.

– Кончил, ваше величество, но я надеюсь вскоре снова явиться к вам для получения высочайших ваших повелений по некоторым делам, – сказал граф.

Анна Ивановна отрицательно покачала головою.

Герцог вышел в другую комнату, и через несколько минут вошли в спальню гренадёры, чтобы вынести на креслах Остермана.

– Прощай, Андрей Иваныч! – сказала ласково государыня, протягивая руку Остерману, который с трудом нагнулся в креслах, чтобы поцеловать её.

Когда Остерман был вынесен в приёмную, то находившиеся там адмирал граф Головин и обер-штальмейстер князь Куракин сказали ему: «Мы желали бы знать, кто наследует императрице».

– Молодой принц Иван Антонович, – ответил кабинет-министр, не сказав ни слова ни о завещании, ни о назначении регентом герцога Курляндского.

Ответ Остермана распространился тотчас между вельможами, бывшими в это время во дворце, а потом перешёл в городскую молву.

– Значит, царством будет править принцесса Анна Леопольдовна, – говорили в городе.

– Да кому же другому, как не ей, – замечали на это, – ведь она ближе всех императрице, да притом и родная внучка царя Ивана Алексеевича, ведь не быть же приставниками при государе герцогу Курляндскому или принцу Антону, – герцог ему чужой человек, а принц хоть и родитель, да никуда не годится – труслив как заяц.

Затем начались толки о принцессе, и большинство голосов склонялось в пользу её, как женщины доброй и рассудительной.

Подпись завещания, трогательные речи герцога жестоко потрясли Анну Ивановну. Силы её стали быстро упадать, и она, сознавая приближение смерти, выразила желание проститься с близкими к ней людьми.

⁵³ Исторически верно. (Примечание автора)

Осторожно, едва переводя дыхание, начали теперь входить в опочивальню царицы из приёмной бывшие там сановники. Становясь на одно колено у постели умирающей государыни, они целовали её руку. Между прочими подошёл к ней и старик Миних.

– Прощай, фельдмаршал, – сказала ему императрица, и это прощание было последними её словами.

Императрица впала в тяжёлое забытие. Наступила борьба угасавшей жизни с одолевающей её смертью. Государыня с трудом дышала и, открывая по временам глаза, казалось, хотела узнать окружающих её. Теперь близ неё оставались герцог, герцогиня, Анна Леопольдовна с мужем, духовник и доктор Фишер. Дыхание умирающей постепенно делалось реже, отрывистее и тише, она с трудом поднимала отяжелевшие веки над помутившимися её глазами и металась головой на подушке. Наступила минута спокойствия, государыня лежала неподвижно. Затем послышался глубокий вздох, за ним сперва глухое и потом всё более и более усиливающееся хрипение, и умирающая вытянулась во весь рост, закинув на подушке голову.

В безмолвии, среди мёртвой тишины, смотрели все присутствующие на отходившую в вечность грозную самодержицу.

Первый подошёл к ней Фишер; он осторожно рукой коснулся пульса императрицы, потом положил руку на её сердце, внимательно прислушиваясь к её дыханию.

– Всё кончено, – сказал он, обратившись к герцогу.

Герцогиня взвизгнула и опустила без чувств в кресла. Бирон упал на колени и, прикинув головой к постели, зарыдал, как ребёнок. Принц Антон быстро заморгал глазами и, совершенно растерянный, не знал, что делать. Анна Леопольдовна сделалась ещё бледнее, судорожное движение пробежало по её губам, и она вперила свои тёмные, задумчивые глаза в лицо скончавшейся государыни, на котором проявлялось теперь торжественное спокойствие, набрасываемое обыкновенно смертью в первые минуты своей победы над отлетевшей жизнью...

Неподвижно оставался герцог у изголовья почившей государыни. Всё прошлое быстро промелькнуло в его памяти. Среди воспоминаний о своём необыкновенном величии и могуществе ему грезилась теперь и пышность двора, и перлы герцогской короны, и даже представлялась в какой-то туманной дали шапка Мономаха с протянутой к ней рукой. В ушах его гудел теперь звон кремлёвских колоколов и слышались приветственные крики народа, раздававшиеся при появлении на красном крыльце только что венчанной царицы. Но наряду с этими величавыми воспоминаниями теснились и другие, противоположные воспоминания: ему представлялась его родная, убогая немецко-латышская мыза с соломенной кровлей; ему припоминались дни кипучей его молодости, проводимые большей частью впроголодь; перед ним промелькнула даже и неприглядная кенигсбергская кутузка, в которой он – будущий владетельный герцог – отсидел некогда за долги, буйство и ночное шатание⁵⁴. Теперь в голове его призраки недавнего блеска и славы мешались с призраками давнишнего убожества и ничтожества, и поражённый горем герцог мгновенно оценил всё, чем он был обязан единственно милостям императрицы. Последней из этих милостей было назначение его регентом империи, следовательно, власть не ускользала из его рук. Герцог ободрился при этой мысли и твёрдыми шагами вошёл в приёмную, где русская знать приветствовала его раболепным поклоном...

⁵⁴ Историк М. И. Семевский в своей книге «Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс» (СПб., 1884) пишет следующее: «Бирон в молодости оставил родину и поселился в Кенигсберге для слушания академических курсов; ленивый, неспособный, он вдался в распутство и в 1719 году попал в тюрьму за участие в уголовном преступлении...». Известно, что помог ему выбраться из неё не кто иной, как Виллим Монс.

Х

При распространившейся вести о кончине императрицы весь Петербург ранним утром пришёл в необыкновенное движение. Казалось, все жители его высыпали на улицы. Густые толпы народа валили к Летнему дворцу, на углах и перекрёстках собирались отдельные кучки, принимавшиеся было судить и рядить о том, что теперь будет, но полицейские драгуны усердно разгоняли их. На площадях и в разных местах города расставляли пешие караулы и конные пикеты от гвардейских и напольных полков. На заставы был послан приказ не выпускать никого из города впредь до особого разрешения. Полиция торопилась запереть кабаки и бани, чтобы предупредить народные сборища. На площади перед Зимним дворцом выстраивались полки. На улицах по мостовой и по голой земле, охваченной первыми морозами, глухо стучали экипажи сановников, царедворцев и высших военных чинов, спешивших в Зимний дворец для принесения присяги новому государю, безмятежно спавшему в колыбели. Когда на дворцовой площади выстроились войска, то им было прочитано распоряжение императрицы о наследии престола и о назначении герцога Курляндского регентом империи.

– Вот тебе и на, – слышалось в войске, – а родительница-то государя при чём же теперь будет?

– А что же станет делать принц Брауншвейгский? – спрашивал один гвардейский офицер своего товарища.

– Да что принц? Тряпка он, братец ты мой, больше ничего. Разве ты не видел, что он, как подполковник Семёновского полка, зяб на площади наравне с нами, когда читали указ о регентстве. Тут ли его место? Сына его возглашают государем, а он между солдатства находится. Принцессу-то жаль, братец ты мой, что поделает она с такой разиней?..

– Значит, опять пойдут прежние порядки? Плохо...

– Разумеется, плохо.

Подобные речи, в порицание герцога и принца и в сожаление к Анне Леопольдовне, слышались и в войске, и в народе, но делать было нечего. Власть регента утвердилась окончательно, и он в новом звании принёс перед фельдмаршалом Минихом торжественную присягу.

Твердя о своей безграничной привязанности к покойной государыне, герцог хотел оставаться при её гробе до самого погребения и потому не переезжал в Зимний дворец из Летнего, где скончалась императрица и где должно было оставаться её тело до перенесения его в Петропавловский собор. Между тем Анна Леопольдовна изъявила намерение переехать на житьё в Зимний дворец и взять туда с собою своего сына. По поводу этого произошла бурная сцена⁵⁵.

– Я сегодня, герцог, переезжаю в Зимний дворец, – сказала регенту принцесса в присутствии своего мужа и его адъютанта Грамотина.

– Это зависит совершенно от воли вашего высочества, – отвечал с почтительным равнодушием герцог.

– Я беру туда с собой своего сына, – добавила принцесса.

– Этого никак нельзя допустить, – отрывисто промолвил регент.

– Как нельзя? – спросила изумлённая Анна Леопольдовна, окинув его высокомерным взглядом.

– Никак нельзя, – повторил настойчиво герцог. – Вам известно, что по воле покойной государыни император поручен непосредственным моим попечениям, и потому он постоянно должен быть там, где нахожусь я.

Принц кивнул головой в знак согласия и, заикаясь, начал бормотать что-то.

⁵⁵ Известие об этом находится в донесении французского посланника маркиза де ла Шетарди. (Примечание автора)

– Вы здесь, ваша светлость, ничего не значите, – сказала запальчиво Анна Леопольдовна своему мужу, отдаляя его рукой от герцога. – Я без вас сумею свести мои счёты с регентом и объявляю ему, что беру к себе своего сына.

Регент сделал было несколько шагов по направлению к дверям той комнаты, где был помещён император, но принцесса кинулась к этим дверям и загродила ему дорогу.

– Вы не войдёте к его величеству... Я мать вашего государя, и никто в мире не отнимет у меня моего сына! – вскрикнула принцесса и опрометью побежала в его покои.

Герцог остановился и гневно взглянул на принца, который опять заикнулся сказать что-то.

– Я просил бы вашу светлость, – сказал раздражённый герцог, искавший, на ком бы сейчас выместить свою досаду, – не вмешиваться в мои дела с принцессой. Вы слышали, что её высочество сказала вам в глаза, и вы должны знать, что посредничество бывает хорошо только со стороны умных людей, а не... – Герцог как будто опомнился и не договорил слова, бывшего уже у него на языке.

Во время этой сцены Грамотин не знал, что ему делать. В запальчивости своей герцог не обращал на него внимания, а принц как будто не замечал его, и Грамотин, не получая ни от того, ни от другого приказания удалиться, считал своей обязанностью оставаться безотлучно при своём начальнике.

С радостным чувством смотрел Грамотин на бойкость и неуступчивость, так неожиданно проявившиеся в принцессе. От волнения он чуть не задыхался.

– Недаром же полюбилась мне она, – подумал он, – право, за такую женщину и головы сложить не жаль.

Герцог случайно обернулся назад и, видя стоявшего навытяжку адъютанта принца, сделал ему знак рукой, чтоб он вышел.

– Вы, любезный мой принц, – начал по уходе Грамотина герцог, – должно быть, вовсе не понимаете настоящего вашего положения. Неужели же вы не замечаете, что жена ваша ненавидит вас... Впрочем, – добавил герцог со свойственной ему грубой откровенностью, – чтобы лучше уяснить вам отношение к вашей супруге, я должен сказать вам, что принцесса прямо говорила покойной государыне, что она лучше пойдёт на плаху, чем выйдет за вас замуж. Понимаете теперь, что вы значите?⁵⁶

В это время под окном дворца послышался стук экипажа, и герцог увидел карету Анны Леопольдовны, подъезжающую к парадному подъезду, на который выходила принцесса в сопровождении мамки, нёсшей на руках укутанного в тёплое одеяло императора. Герцог быстро накинул обыкновенно носимый им тёмно-синий бархатный плащ, подбитый горностаем, и выбежал на подъезд. В это время принцесса, посадив сына в карету, становилась сама на подножку. Регент понял, что теперь пререкания с Анной Леопольдовной будут и неуместны, и бесполезны, и потому, сняв свою с алмазным аграфом шляпу, почтительно помог принцессе сесть в карету, отдав ей на прощание низкий поклон.

В тот же день вечером регент свиделся с Остерманом и передал ему затруднения, какие встречает он в своих отношениях к Анне Леопольдовне.

– Я очень хорошо знаю характер принцессы, – начал спокойно Остерман, выслушав жалобы регента, – подобные вспышки будут у неё повторяться часто, и если бы у неё нашёлся когда-нибудь твёрдый и умный руководитель, не такой, конечно, как её супруг, то она была бы в состоянии отважиться на многое. Надобно, как я думаю, подчинить принцессу влиянию такого человека, который был бы нам безусловно предан.

– Да где найдёшь его?.. – спросил регент.

⁵⁶ Исторически верно. (Примечание автора)

– А граф Линар. Мы вызовем его сюда, доставим почётное положение, дадим ему богатство, он сблизится с принцессой, и затем, как обязанный всем вашей светлости, Линар будет на нашей стороне. При таком условии представится для нас ещё и другая выгода: Линар – немец, а потому немцы и найдут в нём поддержку.

– Но, быть может, Анна забыла совсем Линара? Скоро три года, как он уехал из Петербурга.

– Поверьте мне, ваша светлость, что она не успела ещё забыть его. У таких женщин, как она, первая любовь долго, даже очень долго не изглаживается из сердца. Повторяю, что я знаю очень хорошо принцессу, я слишком много слышал о ней от г-жи Адеркас, и убеждён, что она очень охотно променяла бы на любовь не только власть правительницы, но и корону.

В то время, когда герцог и Остерман обдумывали способы к исполнению этого коварного плана, в Летнем дворце шли деятельные приготовления к парадной выставке набальзамированного тела императрицы. С той стороны Летнего дворца, которая была обращена к саду, виделось траурное убранство: не только главный средний вход, но и два боковые входа были завешаны снаружи завесами из чёрной байки с отделкой из чёрного флёра. Над главным входом был повешен государственный герб, окружённый гербами тогдашних тридцати двух русских провинций.

Стены главной дворцовой залы были убраны так, что, казалось, они были отделаны чёрным мрамором с жёлтыми жилками. У стен около окон стояли двойные столбы из серого мрамора на мраморных пьедесталах тёмно-жёлтого цвета. По сторонам окон и дверей шли горностаевые каймы, а сами двери и окна были завешаны чёрным сукном, которым были обиты и потолок, и пол залы. Карниз около всей залы был отделан золотой парчой и белой кисеёй, а над карнизом возвышались вышитые по золотому полю чёрные двуглавые орлы, под самым же потолком были размещены гербы провинций и каждый из этих гербов поддерживался двумя младенцами. Это должно было означать, что все провинции России лишились своей матери. «Для большего же изъявления печали, – говорилось в современном описании убранства залы, – означены были при окнах на чёрных завесах многочисленные серебряные слёзы, которые должны были происходить от помянутых при гербах представленных плачущих младенцев».

При одной из стен залы был пристроен катафалк, возвышавшийся на несколько ступеней, и на нём был поставлен одр. Ступени катафалка были обиты малиновым бархатом и украшены богатым золотым галуном, а одр был застлан драгоценным с чёрными орлами покровом из золотой парчи, широко раскинутым на все стороны. Кисти и шнуры покрова были сделаны из «волочёного» золота. Позади гроба стена была покрыта широкой императорской мантией из золотой парчи, с вышитыми орлами, подбитой горностаем; золотые шнуры мантии держала с каждой стороны «крылатая фама», т. е. слава, обыкновенной человеческой величины, а среди мантии был помещён государственный герб.

На одре был поставлен золотой гроб с серебряными скобами и такими же ножками. в нём лежала покойная государыня в императорской короне; на груди её блеснул драгоценный бриллиантовый убор, а шлейф её серебряной глазетовой робы был выпущен из гроба на несколько аршин. Гроб был осенён золотым балдахином, подбитым горностаевым мехом.

По четырём сторонам гроба «сидели в печальном виде и в долгой одежде четыре позолоченные статуи», представлявшие: радость, благополучие, бодрость и спокойствие. Печальный их вид должен был означать, что «российская радость пресеклась; всё благополучие прекратилось, вся бодрость упала и самое спокойствие миновало». На верхней ступени катафалка стояло десять обитых малиновым бархатом табуретов с золотыми ножками, с золотыми глазетовыми подушками, на них лежали корона императорская и короны царств: Казанского, Астраханского и Сибирского, скипетр, держава и знаки орденов: андреевского, alexандровского и екатерининского, а также польского белого орла. От катафалка по обеим сторонам в длину

залы были расставлены «добродетели в подобии белых мраморных статуй». Они изображали ревность к Богу, веру, храбрость и множество других добродетелей почившей государыни, в числе которых было и «великолепие». Статуи эти были украшены напыщенными девизами. На стенах залы висели медальоны, напоминавшие на письме и в живописи подвиги, славу и добродетели Анны Ивановны. Сверх всего этого в зале было здание, сделанное из мраморных серых и красных досок в виде пирамиды, на которой была изображена хвалебная надпись в честь покойной государыни, и на эту надпись указывала вылитая из металла в обыкновенный рост статуя России.

С потолка залы спускалось шестнадцать больших серебряных и хрустальных паникадил⁵⁷; при окне и при каждой двери стояли огромные хрустальные канделябры, так что вообще в зале постоянно горела тысяча восковых свечей.

Среди этой пышно-льстивой и как будто языческой обстановки громко раздавались возглашаемые дьяконом слова евангельского обетования: «И изыдут сотворшии благая в воскресение живота, а сотворшии злая в воскресение суда»...

⁵⁷ Паникадило – висючая люстра в церкви.

XI

Снежная октябрьская вьюга свободно гуляла по широким улицам и тогдашним пустырям Петербурга, то наметая, то размётывая огромные сугробы снега, резво кружившегося в воздухе и клубами поднимавшегося с земли. Вечерело, и фонари, заведённые в Петербурге ещё с 1723 года Петром Великим, стали тускло мерцать на огромных расстояниях, задуваемые сильным ветром. В эту пору, закутавшись в епанчу⁵⁸ и нахлобучив на глаза шапку, пробирался с адмиралтейской стороны на Васильевский остров, в бывшие тогда ещё там «светлицы» или казармы Преображенского полка, вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин к своему приятелю поручику Ханькову, который, по месту своей службы, жил в одной из светлиц этого полка.

Светлица была простой бревенчатой избой в пять маленьких окон по главному фасаду и с входной посреди их дверью, ведущей в обширные сени, по бокам которых шли комнаты, отводимые для жилья офицерам и нижним чинам. Быт тогдашних гвардейцев, за исключением высших чинов или офицеров особенно богатых, не отличался ни изысканностью, ни удобством обстановки. Так, поручик Ханьков, человек не слишком достаточный, жил в довольно просторной комнате с маленькими окнами. Стены его жилья были деревянные, неоштукатуренные, не оклеенные обоями. В переднем углу, по православному обычаю, висело много икон с постоянно теплившейся перед ними лампадкой, на стенах наклеены были суздальские лубочные картинки, преимущественно благочестивого содержания, между ними висело небольшое зеркальце. К стене были прислонены тогдашний тяжёлый мушкет и протазан – стальное копьё на чёрном трёхаршинном древке с серебряными кистями. На стене виднелись также развешанные в большом порядке служебные доспехи поручика: огромная шпага с перевязью из выбеленной лосиной кожи; чёрная кожаная шапка с кругловатой тульей, с жёлтой медной бляхой и с большим чёрным страусовым пером; суконный тёмно-зелёного цвета кафтан с маленьким отложным воротником, обшлагами и оторочкой из красного сукна и с жёлтыми медными пуговицами и красный суконный камзол. Наряд этот, вздетый на поручика, дополнялся красными суконными панталонами, белым галстуком и высокими сапогами с раструбами или, при большом параде, башмаками с огромными медными пряжками при белых чулках. Время теперь было смутное, неровен был каждый час; офицера могло потребовать начальство во всякую минуту, и поэтому предусмотрительный поручик держал наготове весь свой убор, чтобы явиться на полковой двор тотчас же при первом ударе тревоги.

Меблировка у поручика была весьма незатейлива: в комнате стояло несколько простых, окрашенных красной краской кресел, обитых чёрной кожей, такое же жёсткое канапе и постель, сооружённая из наследственных перин и подушек, устроенная на козлах из простого белого дерева. Не более как несколько дней тому назад на этом ложе поручик спал богатырским сном, возвращаясь с утомивших его экзерциций, обходов и караулов. Но теперь, говоря поэтически, сон не смыкал его вежд; всю ночь напролёт беспокойно ворочался он с боку на бок, потому что раздражающие и тревожные мысли не давали ему покоя: он постоянно обдумывал опасное дело, за которое готов был на плахе сложить свою голову. Убранство комнаты дополняли огромный обитый железом сундук с разным скарбом и два стола. На одном из них была приготовлена неприхотливая закуска, преимущественно из деревенских запасов, присланных поручику его заботливыми родителями, а у другого стола, облокотившись на него, сидел в ожидании гостей хозяин, призадумавшись и посасывая кнастер из коротенькой голландской трубки. Большая комната слабо освещалась одной порядочно нагоревшей сальной свечой.

Сильный стук железным кольцом у входной с улицы двери вывел поручика из задумчивости, он встрепенулся, а слуга его опроретью бросился из соседней комнаты, чтобы отворить

⁵⁸ Епанча – длинный и широкий старинный плащ.

дверь. Вслед за тем показался на пороге занесённый снегом Камынин. Вскоре после него, в таком же виде, пришли один за другим и другие гости Ханькова: поручик Преображенского полка Пётр Аргамаков и два сержанта того же полка – Алфимов и Акинфеев. Прежде всего хозяин предложил гостям подкрепиться выпивкой и «ужиной», т. е. вечерней закуской, и после непродолжительного калякания о тяготах военной службы, о притеснениях и несправедливостях, испытываемых русскими со стороны командиров-немцев, между собеседниками завязался разговор политического свойства⁵⁹.

– Для чего так министры сделали, что управление Всероссийской империи, мимо его императорского величества родителей, поручили его высочеству герцогу Курляндскому? – заговорил хозяин дома. – Что мы сделали? – допустили государева отца и мать оставить; они – надеюсь – на нас плачутся. Отдали всё государство какому человеку? – регенту. Что он за человек?.. Лучше бы до возрасту государева управлять государством отцу государеву или матери.

– Вестимо, что это справедливее было бы, – заметил сержант Алфимов.

– Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите, – укорительным тоном продолжал хозяин, обращаясь к Алфимову и Акинфееву, – ведь вы знать должны, что у нас в полку надёжных офицеров нет, так что и посоветоваться не с кем, да и надеяться-то не на кого; разве только вы, унтер-офицеры, толковать о том солдатам станете.

– Отчего бы и не так, – перебил Акинфеев.

– Дельно, – поддакнул поручик Аргамаков.

– Я уже об этом и здесь, и при строении казарм⁶⁰, и в других местах многим солдатам говорил, – продолжал Ханьков, – и солдаты все на это позываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери государство регенту отдали, и бранят нас, офицеров, и вас, унтер-офицеров, за то, что ничего не начинаем. Говорят, что им самим, солдатам, без офицерства и унтер-офицерства ничего зачать не можно, и корят нас за то, что когда был для присяги перед дворцом строй, мы напрасно им того не толковали...

– Да, следовало бы нам в ту пору так сделать, а то ныне с регентом трудновато уже справиться, – заметил Аргамаков, – крепко он утвердился, большую власть он забрал. Вот уже и в церквах молитву за него возносить стали; просят, чтобы Господь пособил ему во всём и покорил бы под ноги его всякого врага и супостата. Сердце у меня, братцы, облилось кровью, как в прошлое воскресенье услышал я за обедней этот возглас, а дьякон-то точно с умыслом орёт во всю глотку... Обрадовался, что ли?

– Да, тогда, как строй был полегче, можно было бы сладить с регентом, я бы, – говорил Ханьков, – сказал бы только гренадёрам, и никто бы из них спорить тогда не стал; все бы они за мной как один человек пошли, а побоявшись их, и офицеры стали бы солдатскую сторону держать. Прозевали мы, что делать! А сказать должно, что только скрепя своё сердце я гренадёрам ничего не говорил, и потому именно, что я намерения государыни-принцессы не знаю, угодно ли ей то будет...

– Разумно говоришь, – отозвался Аргамаков, – да кому же нам и порадеть, как не ей, нашей голубушке. Все мы за неё костями ляжем, прикажи она только...

– Ну, брат, пожалуй, что и не все так поступят, как ты думаешь, – перебил сердито Ханьков, – в полку у нас многие крепко сторону цесаревны Елизаветы Петровны держат; говорят: ей-де следует, по великому её родителю, царская корона, а не принцессе...

– Да мы осилим их, если на то дело пойдёт! – бойко крикнул Акинфеев, – хотя и обереги нас Господь Бог от междоусобной брани, – добавил он, вздохнув, и затем, обратившись к образам, набожно перекрестился.

⁵⁹ Разговор этот основан, с удержанием почти всех подлинных выражений, на следственном деле, производившемся о действующих здесь лицах. (Примечание автора)

⁶⁰ В то время строились казармы Преображенского полка в нынешней их местности. (Примечание автора)

– Да на что же цесаревне корона? Отречётся она от неё: волю больно любит, – заметил Алфимов.

– Это правда, – подхватил Ханыков, – государыня, принцесса куда как степеннее цесаревны будет. Вот хотя бы и с мужем постоянная неладица у неё идёт, а всё-таки о ней никто дурного слова не скажет. Да послушали бы вы, господа, что говорит о ней Грамотин: умом и смелостью её не нахвалится. Рассказывал, как она при нём с регентом схватилась. Только и твердит всем и каждому: вот бы настоящая-де царица была...

– Уж не норовит ли он при ней в обер-камергеры да в какие-нибудь такие-сякие герцоги ингерманландские, – с колкостью вмешался безмолвствовавший до того времени Камынин.

– Ты, брат, Лукьян Иваныч, больно острословен, полно тебе трунить и издеваться над Грамотиным, – внушительно и сурово заметил Ханыков, – что он? дорогу тебе нешто перебивает? Грамотина я знаю: он человек хороший, а об её высочестве при мне никто и заикаться не смей... Стыдно тебе, братец...

– Стыдно так стыдно, – равнодушно проговорил Камынин, – а вот тебя так любо послушать; смотри только, что скажут на твои смелые речи другие, а о государыне-принцессе обмолвился я ненароком, так с языка сболтнулось, потому что и сам, как православный, постоять готов за неё, чтобы только сжить с рук проклятых немцев.

– Ты спросил, Лукьян Иваныч, что скажут другие на смелые речи Ханыкова, да вот что скажут, – крикнул Аргамаков, – скажут, до чего мы дожили? Какова теперь наша жизнь? Что случилось с Россией! Лучше бы я сам себя заколол за то, что мы, гвардейцы, допустили сделать, и хоть бы из меня жилы принялись тянуть, то и тогда я говорить это не перестану...

– Нам бы только как-нибудь проведать поточнее, что государыне-принцессе угодно будет, а постоять бы за неё мы сумели, – с жаром начал Ханыков, – я здесь, а Аргамаков на Сан-Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем. Я привёл бы свою гренадёрскую роту, потому что вся она пошла бы за мной, а к нам пристали бы и другие, и тогда мы регента и согласников его, Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого, живой бы рукой убрали⁶¹, а государыне-принцессе правительственную власть, а не то, статья может, и корону бы доставили...

– Я, братец ты мой, нисколько не прочь от такого хорошего дела. Только бы Господь помог нам в этом, – проговорил решительным голосом Аргамаков.

– Да и помимо уже её высочества нам теперь и за самих себя постоять приходится. Есть у нас в полку один солдатик, который к регентовым служителям частенько ходит, – начал снова Ханыков, – так вот этот-то самый солдатик и рассказывал, что регентово намерение есть ко всем разные милости оказать, а нам, преображенцам, – насмешливо добавил поручик, – явить ту высокую милость, чтобы в наш полк великорослых людей из курляндцев набрать. Оттого-де, говорит регент, полку красота будет. Вишь, какую новую милость придумал! Как будто меж нас, русских, рослых молодцов и даже богатырей не отыщется? Да не в том, впрочем, и вся-то штука, а в том, мои приятели, что хотят нас, православных, совсем из первейшего что ни на есть российского полка, немцами повытеснить!..

– Говорят, однако же, и о разных других заправских милостях, – начал тихим голосом Камынин, – хотят всему солдатству особенную милость оказать и жалованье ему за треть выдать; доимку вперёд не взыскивать, да и возратить её тому, с кого прежде взята была, а из гвардейских полков отпустить дворян в годовой отпуск, вычтенными же из жалованья их деньгами казармы отстраивать, и тем самым солдатство и всех к милости будто приводят. А на самом-то деле всё это выходит не так: только провести хотят нас министры. Вот хоть бы мне Бестужев и дядюшка, а, прости Господи, какой он, к чёрту, министр! Не пожалел бы я и его,

⁶¹ Имеются в виду, кроме Остермана, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693—1766), граф, генерал-фельдмаршал, канцлер с 1744 по 1758 г., крупный дипломат и князь Никита Юрьевич Трубецкой, генерал-прокурор.

если бы с ним до расправы дошло. Хорошо было бы, если бы Аргамаков по полкам подписку сделал о том, чтобы просить её высочество государыню-принцессу правление принять. Чаять надо, что всё обошлось бы тогда спокойно и государственная перемена надлежащая была бы у нас.

– Думали, братец, и об этом, – заговорил снова Ханыков, – ходили с тем к графу Головкину господ семёновские офицеры, да что из этого вышло? Водил их ревизион-коллегии подполковник Любим Пустошкин, чтобы заявить, что всё офицерство против регента и на сторону государыни-принцессы склоняется, и говорили графу Головкину, что хотят, мол подать о том челобитную от российского шляхетства. Головкин и сказал им, что он, как им это известно, и сам вольные речи о регентстве говорил, за что он теперь от всех отрешён и едет в чужие края, так что делом этим заняться ему некогда, а посоветовал им, чтобы они со своим намерением к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому отправились. Тот похвалил господ семёновских офицеров и под тем предлогом, что ему сейчас важные дела спешно отправлять приходится, просил, дабы они на другой день к нему пожаловали, а сам шмыгнул к регенту, да всё, как было, и пересказал ему.

Говоря это, Ханыков случайно взглянул на Камынина, который заметно смутился и принялся откашливаться. Гости поручика потолковали ещё добрый час о том и о другом, и все их речи сводились к тому, что надобно поскорее приняться за дело в пользу Анны Леопольдовны. Потом повыпили, позакусили ещё и стали собираться по домам.

– Говорили мы обо всём только промеж добрых приятелей, – сказал, прощаясь, Камынин своим товарищам, – дело наше смертельное, и тому, кто из нас станет доносить один на другого, такому доносчику – первый кнут!

– Ладно, ладно, – заговорили все, – мы, братцы, люди честные и друг друга даже и в пытке не выдадим.

Выйдя от Ханыкова и разлучившись на дороге со своими товарищами, Камынин направился быстрыми шагами к дому своего дяди Бестужева-Рюмина. Камынин разбудил его и передал ему всё, что слышал у Ханыкова, а Бестужев, горячий приверженец регента, несмотря на позднюю пору, немедленно отправился к герцогу с известием, что двое офицеров Преображенского полка имеют против его высочества злые умыслы.

Через два дня после этого вахмистр Камынин был произведён за отличие в корнеты...

XII

В местности, прилегающей ныне к Михайловскому театру, находились огороженные высоким, толстым и заострённым тыном строения. Вечно запертые, окованные железом ворота и стоявшие на карауле солдаты показывали, что тут было недоброе место, и действительно, тогдашние петербургские жители не без ужаса проходили мимо него, так как за высоким тыном помещалась тайная канцелярия. Одно только упоминание о ней бросало в жар и в холод каждого, потому что никто не мог быть уверен, чтобы рано или поздно не потянули его туда на жестокую расправу.

Во дворе, за тыном, стояло несколько отдельных небольших изб или светлиц, а посреди двора было расположено на каменном подвальном фундаменте длинное, невысокое бревенчатое строение, похожее на сарай.

В ворота этого неприглядного здания через два дня после сходки, происходившей у Ханькова, въехали под вечер три повозки. Из них в каждой сидели отдельно наши знакомцы: Ханьков, Аргаматов и Алфимов, скованные по рукам и по ногам. Сильный караул от одного из наполевых или армейских полков окружил наглухо закрытые повозки.

Привезённые арестанты при выходе из повозок вошли с частью сопровождавшего их конвоя в небольшую сборную комнату, тускло освещённую ночником. Здесь их встретил секретарь тайной канцелярии и немедленно распорядился о размещении обоих поручиков и сержанта по особым помещениям, находившимся в подвале, приставив к дверям их надёжный караул.

Тогдашнее наше страшное и таинственное судилище не представляло той грозно-изысканной обстановки, какой обыкновенно отличались инквизиционные тайники в Западной Европе, поражавшие попавших туда своей мрачной торжественностью. В тайной канцелярии, несмотря на все происходившие в ней ужасы, заметна была родная наша простота и своего рода благодущие без всякой вычурности, и вообще это учреждение по внешности смахивало и на обыкновенный острог, и на простую полицейскую управу. В сборной, из которой увели арестантов, остался теперь один сторож, старый служивый, одетый в солдатскую сермягу без всяких знаков своей принадлежности к такому важному учреждению, каковым была тайная канцелярия. Пользуясь одиночеством, он преспокойно разлёгся на деревянной скамье, но всхрапнуть ему не удалось, потому что едва он улёгся, как начали стучать в дверь. Сторож, не торопясь, отворил её, и конвой, состоявший из трёх мушкетёров, ввёл в сборную какую-то молоденькую бабёнку. Она в изнеможении села на скамейку, а двое из её караульных, не выпуская из рук заряженных ружей, поместились по бокам её, а третий их товарищ стал на часы у входной двери.

– Сдать её пока некому, Иван Кирилыч сейчас был, да ушёл; скоро придёт, – позёвывая, сказал служивый и затем ленивым шагом поплёлся поправлять ночник.

– Вишь ведь молодка какая, а успела уж попасть к нам, – проговорил он с добродушной шутливостью, приглядываясь к арестантке.

– Прозябла она больно, как была в одном сарафанишке, так, видно, её схватили и шугая-то накинуть не дали, – сказал один из сидящих около неё мушкетёров.

– Не велика беда, что прозябла, – заметил старый служивый, – у нас лихо отогреют... Ведь вот, поди, чай, дурища, сболтнула что-нибудь, – продолжал он с видимым участием, обращаясь к бабёнке.

– Сболтнула и есть, родимый, – заговорила она сквозь слёзы, привставая с места.

– А что?..

– Да в самое-то утро после смерти царицы, не знала я ещё тогда, что она уж Богу душу отдала, спросила я у нашего соседа-кожевника об её здоровье... Ведь никогда не спрашивала прежде, а тут словно нелёгкое меня дёрнуло...

– Так что ж, что спросила? – важно проговорил служивый.

– А он поди и донеси, что я-де над покойницей-царицей насмехаюсь...

– Вот как побываешь единожды у нас, так напредки ни о чьём здоровье спрашивать не будешь... Не суйся, баба, куда не следует... – наставительно добавил служивый.

Бабёнка разревелась.

– Чего ревьешь? легче от того не будет, да и впереди ещё реветь немало придётся...

Во время этого разговора явился секретарь канцелярии. Сидевшие мушкетёры повскакали со своих мест, взяв, так же, как и караульный, ружья к ноге для отдания чести по тогдашнему воинскому уставу.

– Мало, что ли, у нас делов и без тебя, окаянная! – вскрикнул грозно секретарь, взглянув на оторопевшую бабёнку, которая повалилась ему в ноги.

– Помилосердуй, отец родной, спроста, видит Бог, что спроста, ненароком спросила!

– Разберут про то после. Ну, ребята, стащите-ко её куда следует, – и караульные, исполняя данное им приказание, повели во всю мочь голосившую арестантку.

– Нужно, Антипыч, собирать нам поскорее нашу команду. Начальство, чай, скоро придет, чтоб врасплох не застало. Поворачивайся поживее, – сказал секретарь сторожу.

Служивый, покрякивая и бормоча что-то себе под нос, вышел и вскоре по зову его в сборную комнату явились три палача со своими помощниками, костоправ со своим учеником, четверо служителей и двое приказных, занимавшихся письменной частью при канцелярии.

– Сегодня не только его сиятельство граф Андрей Иванович, но и его сиятельство князь Никита Юрьич изволят к нам прибыть, – сказал секретарь приказным. – Смотрите, всё ли у вас в исправности, да и у вас всё ли в порядке? – добавил он, обращаясь к палачам.

– Чего нам смотреть, какому у нас быть непорядку, своё дело хорошо знаем, – забормотал несколько обиженным голосом один из заплечных мастеров, ражий детина.

В ожидании приезда начальства представители разнородной деятельности тайной канцелярии калякали между собой о близких каждому из них предметах; здесь шли речи о ловком ударе кнутом, о вывихнутых суставах, о переломанных членах и костях, о вывороченных руках и т. п., и обо всём этом говорилось не только с совершенным равнодушием, но и с шуточками и с весёлыми прибаутками разного рода.

В это время вбежавший в сборную комнату сторож крикнул: «Едут!»

Все призамолкли и засуетились, а сторожа принялись зажигать свечи и фонари, и когда дверь широко растворилась, то в неё вошли закутанные в шубы начальник тайной канцелярии граф Андрей Иванович Ушаков и генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой, ревностные клеветы регента и деятельные исполнители его повелений.

Они приехали со своими адъютантами. По принятому в то время порядку, адъютанты сопровождали генералов верхами и, сообразно со значением своих начальников и тех лиц, к кому они приезжали, адъютанты или оставались на улице, или входили в приёмную, или же, наравне с выездными лакеями, ожидали своих генералов в прихожей, в сенях или на крыльце. Они не имели права входить в тайную канцелярию, а потому и пошли отогреваться в одну из надворных светлиц.

Войдя в комнату, назначенную для заседаний, Ушаков и Трубецкой наскоро выслушали доклад секретаря о бумагах, вновь вступивших в канцелярию, и приказали ему приступить к «пыточным делам».

Для производства этих дел граф и князь перешли в покой, называвшийся «застенок», отделявшийся от прочих частей здания небольшой проходной комнатой, в которой был склад пыточных снарядов. В этой комнате, как в кладовой, были приделаны по стенам деревянные полки, на которых лежали: кнуты, ремни, верёвки, цепи, железные обручи, клещи, ошейники, рогатки, кандалы и какие-то снаряды, похожие на хомуты.

Из этой кладовой был прямо вход в застенок. Застенок представлял собой просторную избу с бревенчатыми стенами. Здесь в переднем углу висела простая потемневшая икона, озаряемая унылым светом зажжённой перед ней лампадки. В стенах под самым потолком были прибиты маленькие, продолговатые окошки с толстыми железными решётками, почему в застенке даже и среди белого дня было так темно, что расправа там производилась постоянно при фонарях и свечах. В одну из балок, шедших вдоль потолка, был укреплен большой блок с пропущенной сквозь него толстой верёвкой. Под блоком на полу, застланном рогожами, с накиданной на них соломой, стоял низкий деревянный чурбан, а около него было бревно с переброшенным через него другим бревном, в виде подвижного рычага. По сторонам верёвки, шедшей с блока, спущены были с потолка фонари, а на чурбане лежали принадлежности пытки. Всё это показывало, что в застенке скоро примутся за обычную кровавую работу, к которой и подготовлялись уже собравшиеся туда заплечные мастера.

В нескольких шагах от места пытки стоял длинный, покрытый зелёным сукном стол, за которым в больших покойных креслах расселись теперь Ушаков и Трубецкой, а подле них с заложенным за ухо пером и со свёртком бумаг в руке стоял секретарь в ожидании привода подсудимых.

Первым из них введён был поручик Ханьков. Он был бледен как мертвец, но не терял бодрости и хладнокровным взглядом обвёл незнакомый ему до сих пор застенок. По приказанию Ушакова секретарь прочёл данные Ханьковым предварительные показания.

– Ты не всё показал, утаил многое из своих злодейских намерений против его высочества государя-регента и против своего отечества, – сказал Ушаков.

– Против своего отечества никаких злодейских намерений никогда я не имел, – резко отвечал Ханьков.

– А вот это мы сейчас узнаем, – перебил с злобной усмешкой Трубецкой и, нагнувшись к Ушакову, прошептал ему что-то на ухо.

– В ремень его! – крикнул Ушаков.

Слова эти на языке тайной канцелярии означали первый приступ к пытке.

Палачи со своими помощниками подскочили к поручику, быстро повалили его на пол, сбили с него кандалы, а один из палачей, сняв висевший у него через плечо длинный сыромятный ремень, начал связывать Ханькову ноги. Когда это было окончено, палачи приподняли его и, поддерживая со всех сторон, приволокли под блок. Здесь палач сдёрнул с него форменный кафтан и камзол и, разорвав на нём рубашку спереди, обнажил по пояс его спину. После этого, заворотив ему руки назад, он туго скрутил их у кистей верёвкой, которая спускалась с блока и конец которой был обшит войлоком, и затем на связанные руки надел кожаный хомут, плотно затянув его ремнями.

– Что ещё можешь сказать ты в дополнение к тому, что показал прежде? – спросил Ушаков Ханькова.

– Ничего, – отрывисто проговорил он.

– Начинай! – закричал Ушаков.

Палач положил на промежуток ремня, связывавшего ноги Ханькова, конец бревна, представлявшего рычаг, и, став одной ногой на это бревно, начал оттягивать его книзу, между тем как другой палач и его помощники принялись тянуть понемногу к себе верёвку, проходившую по блоку. Связанные у Ханькова назад руки стали заворачиваться на спине и подходить постепенно к затылку.

Послышался глухой стон.

– Раз, два, три! – крикнул громко палач, стоявший на бревне, и при последнем слове он изо всей силы ударил по бревну, а его товарищи сильно дёрнули верёвку. В одно мгновение руки пытаемого, передёрнутые за спину, очутились над его головой и он со страшным стоном повис на блоке.

Пытка эта, называвшаяся виской или встряской, была ужасна сама по себе. Не только свихнутые руки выходили из своих суставов, а кости хрустели и ломались, жилы вытягивались, но нередко даже лопалась и кожа у растянутого таким образом страдальца или страдальницы, так как пытке этого рода подвергались не одни только мужчины, но и женщины. Ужасы такой пытки, занесённой в Петербург из Москвы, не оканчивались, впрочем, только этим страшным истязанием.

– Берегись, ожгу! – гаркнул стоявший возле пытаемого третий палач, и вслед за этим выкриком послышался глухой удар или, вернее сказать, какой-то тяжёлый шлепок. Раздался пронзительный визг.

Началось кнутабойство. Орудия, употребляемые при этом, и наносимые ими страдания описал ещё Котошихин⁶² в следующих словах: «учинён тот кнут ременной, плетенной, толстой, на конце ввязан ремень толстой, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей, и как палач ударит по которому месту по спине, и на спине станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей».

В XVI и XVII веках наказания и пытки ещё во всей Западной Европе были ужасны, но замечательно, что известный путешественник Олеарий, видевший в Москве наказание кнутом на площади, где оно, без виски и встряски, производилось сравнительно гораздо легче, нежели в застенке, – отнёс этот вид наказания к самым жесточайшим истязаниям того времени.

После каждого удара, а их Ханыкову с большими расстановками дано было пятнадцать, Ушаков и Трубецкой поочерёдно принимались расспрашивать висевшего на дыбе страдальца. Секретарь записывал его показания, но мучители не добились от него ничего нового.

Такой же пытке в тот вечер подверглись Аргамаков и Алфимов, причём каждому из них было отсчитано по 14 ударов. Кроме того, разозлившийся на Аргамакова Трубецкой бил его палкой по лицу.

Кривая мука кончилась, но ни Ушаков, ни Трубецкой не успели ничего проведать об участии Анны Леопольдовны в замыслах заговорщиков, как ни ухищрённо наводили они истязуемых на признание в этом смысле. Ни один из них не только что не вздумал во время своих невыносимых страданий прикрыться именем принцессы, но даже ни разу никто из них не упомянул о ней, а между тем малейшее указание или даже хоть какой-нибудь ничтожный намёк на неё были бы драгоценным открытием для сиятельных инквизиторов.

После поручиков и сержанта притянули к дыбе и опростоволосившуюся бабёнку, но «за глупостью» её, ни встряске, ни ударам кнута не подвергли и только, напугав до полусмерти, отпустили домой под страшным зарокон никогда и никому не рассказывать того, что она видела и слышала в тайной канцелярии.

Спустя несколько дней Ушакову и Трубецкому представились ещё более важные занятия. Перед ними стоял адъютант принца Антона – Грамотин, обвиняемый в злостных замыслах против государя-регента. Мужественно, ободряемый мыслью о принцессе Анне, пошёл Грамотин на страшную пытку: он перенёс и виску, и встряску, и пятнадцать ударов кнута, не примешав к делу Анну Леопольдовну, хотя в показаниях своих и рассказал с полной откровенностью о неудовольствиях и о ропоте своего светлейшего начальника против регента.

Число гвардейских офицеров, заподозренных в зловредных умыслах против правительства, увеличивалось всё более и более. Их хватили и привозили в тайную канцелярию, и розыски над ними доставляли немало занятий и Ушакову, и Трубецкому.

Между тем Грамотин лежал больной, изломанный в пытке, теряясь в догадках о том, кто бы мог на него донести...

⁶² Имеется в виду подьячий Григорий Котошихин, бежавший из России сначала в Польшу, затем в Пруссию и остановившийся, наконец, в Стокгольме (1668), где им и были написаны записки о России.

ХІІІ

В то время, когда Ушаков и Трубецкой продолжали с обычным усердием расправляться в тайной канцелярии с недоброжелателями регента, Остерман, подавший ему мысль о вызове графа Линара в Петербург, приводил в исполнение этот план дипломатическим путём.

– Странные бывают противоположности в делах политических: вот почти три года тому назад на этом же самом месте мне приходилось сочинять депешу в Дрезден, чтобы сжить поскорее от нас графа Линара. Тогда герцог, проведая о любви к нему принцессы Анны, считал его главной помехой браку своего сына с принцессой, а теперь, наоборот, приходится приглашать Линара приехать поскорее в Петербург для того, чтоб он стал близким человеком к принцессе и своим влиянием на неё содействовал бы видам герцога...

Так размышлял кабинет-министр, сидя за своим письменным столом в том же самом, только ещё более изношенном и более запачканном, красном на лисьем меху халате, который был на этом неряхе и скупце и в ту пору, когда он умудрился сочинить слишком щекотливую депешу об отозвании Линара из Петербурга.

Перечитав и перечеркав несколько раз написанное, Остерман успел, наконец, составить весьма ловкую бумагу к польско-саксонскому министерству. В ней говорилось, что в прежнее время усложнившиеся и запутавшиеся политические обстоятельства в Европе заставляли русский двор держаться такой политики, которой не мог сочувствовать граф Линар, как самый ревностный оберегатель интересов его величества короля польского и курфюрста саксонского, вследствие чего и происходили некоторые взаимные недоразумения, и что так как со своей стороны петербургский кабинет всегда чрезвычайно высоко ценил графа Линара, то кабинету было крайне нежелательно, чтобы недоразумения эти отражались чем-либо на личности уважаемого посланника, почему тогда и признано было за благо – выразить дрезденскому двору предположение петербургского двора об отозвании графа Линара. Но так как теперь обстоятельства совершенно переменялись, продолжал в своей депеше Остерман, то его высочеству регенту Всероссийской империи было бы особенно желательно видеть около себя графа Линара, который, как опытный дипломат, без сомнения, успеет установить самые дружелюбные отношения и самое прочное согласие между обоими дворами – дрезденским и с. – петербургским.

Вместе с предложением об отправке этой депеши в Дрезден находили нужным сообщить и на своих словах графу Линару, через особое посланное к нему от Остермана доверенное лицо, чтобы Линар поспешил принять сделанное ему предложение и безотлагательно приезжал бы в Петербург, где его с большим удовольствием встретит не только регент, но и принцесса Анна Леопольдовна, и что со своей стороны герцог найдёт возможность – если только пожелает того сам граф Линар – доставить ему и в русской службе самое блестящее и вполне обеспеченное положение. Неизвестно, до какой степени должны были доходить в этом случае намёки, подготовлявшие Линара к той не одной только политической, но ещё и сердечной деятельности, которая была придумана для него находчивым Остерманом. По всей, однако, вероятности, приманка такого рода должна была быть высказана, хотя бы вскользь, так как прежние взаимные отношения между герцогом и Линаром были не настолько хороши, чтобы последний мог верить в искреннее желание первого видеть около себя Линара без каких-либо особых своекорыстных расчётов. Поторопиться с вызовом Линара в Петербург представлялось нужным регенту и по другим ещё, новым соображениям. Прежде Анна жила со своим мужем в большом разладе, и случалось так, что, несмотря на всю его угодливость и на все его ухаживания за ней, она не говорила с ним ни слова по целым неделям; но теперь стали замечать при дворе некоторую перемену в её отношениях к принцу Антону.

Трудно сказать, отчего произошла в Анне такая перемена: оттого ли, что после смерти императрицы прекратилось раздражавшее принцессу так часто и порою до последней крайности вмешательство тётки в её супружескую жизнь, и Анна Леопольдовна теперь добровольно была готова обращаться с принцем поласковее, чего она не хотела делать прежде по принуждению? Оттого ли, что ей надоело, наконец, ничтожество её мужа и она, почувствовав с переменной своего положения свою самостоятельность, захотела поднять его в общественном мнении и сделать это так, чтобы принц почувствовал, что он был обязан только одной ей? Увидела ли, наконец, Анна Леопольдовна, что домашние раздоры ослабляют её и вместе с тем поняла, что хотя принц Антон сам по себе и ровно ничего не значит, но что он, как отец царствующего государя, став на стороне регента, придаст этому последнему ещё более и силы, и обаяния? Принцесса вспомнила теперь слова, сказанные ей в утешение Волинским о будущей покорности перед ней тихого и смиренного принца, и она уже на опыте могла вполне убедиться, что в лице её мужа не может явиться опасный для неё соперник. Как бы то ни было, но действительное или только казавшееся сближение Анны с её мужем начало сильно беспокоить герцога. Он и Остерман рассуждали, что если по приезде Линара в Петербург прежняя любовь и не оживёт в сердце Анны, то они и в этом случае ровно ничего не потеряют, так как в бытность Линара польско-саксонским послом при русском дворе они в состоянии будут по-прежнему направлять ход политических дел по собственному своему усмотрению. Если же, напротив, состоится ожидаемое ими сближение между Линаром и Анной, то граф, оставаясь в зависимости от регента, будет его покорным слугой. Если бы даже это последнее предположение и не осуществилось, то и тогда регент не будет в проигрыше: Линар отвлечёт внимание принцессы от государственных дел; приятные с ним беседы она, наверно, предпочтёт скучным докладам министров, затем отвыкнет мало-помалу от всякого участия в правлении и, таким образом, единоличная власть герцога окончательно упрочится.

Кроме всего этого, при вызове Линара имелись в виду и другие коварные расчёты. Герцог мог возбудить в принце оскорблённое чувство супруга; мог напомнить ему, если бы это оказалось нужным, о прежней любви Анны к Линару и тем самым возобновить начавшие было стихать теперь раздоры между женой и мужем – раздоры, благоприятные для регента. Притом, во всяком случае, не трудно было бы пустить в ход молву о близости Линара с принцессой и такой молвой уронить её в глазах русских, считавших Анну Леопольдовну женщиной скромной и безупречной в её супружеской жизни.

В ожидании приезда на помощь к себе подготовленного для принцессы соблазнителя, запальчивый и заносчивый герцог тем не менее предпочитал бы обойтись без постороннего содействия, расправившись сам и с отцом, и с матерью царствующего государя. Регент начал с принца Антона. Он потребовал его к себе в Летний дворец и там при множестве лиц объявил принцу, что он приказал арестовать его адъютанта Грамотина.

– Я полагал, ваше высочество, – забормотал было принц, – что прежде чем сделать это распоряжение, вам угодно будет...

– Что мне угодно будет? – грозно вскрикнул герцог. – Уж не предварить ли вас об этом, для того чтобы дать вам возможность продолжать ваши злодейские замыслы?

Принц растерялся, а герцог заговорил с ним на плохом русском языке для того, собственно, чтобы было понятно всем присутствующим, что он хотел высказать принцу.

– Вы, ваше высочество, масакр, то есть рубку людей или заметание учинить хотите! Надеетесь на ваш Семёновский полк!.. Вы человек неблагодарный, кровожадный!.. Если бы вы имели в ваших руках правление, то сделали бы несчастным и вашего сына, и империю⁶³.

⁶³ Подлинные слова Бирона. (Примечание автора).

Говоря или, вернее сказать, крича это, герцог нагло наступал на пятывшегося перед ним принца, и когда принц нечаянно положил левую руку на эфес своей шпаги, то регент принял это случайное движение за угрозу, и тогда бешенство его перешло все пределы.

– Вы хотите испугать меня вашей шпагой! – крикнул он. – Но знайте, что я не трус и готов «развестись» с вами поединком, – добавил немедленно регент, ударив рукой по своей шпаге.

Все находившиеся в зале остолбенели от ужаса и поняли, что с расходившимся регентом шутить не приходится.

Униженный до последней степени и совершенно расстроенный возвратился принц в Зимний дворец, но не сказал жене ничего о случившемся, боясь её упрёков за ненаходчивость и трусость перед регентом. Напрасно, однако, он думал сделать из этого тайну от принцессы. Вскоре по возвращении принца во дворец к нему явился брат фельдмаршала Миниха и предложил принцу от имени регента сложить с себя все военные звания. Разговаривать долго было нечего, так как Миних привёз заготовленное заранее прошение, которое оставалось только подписать принцу, и он, запуганный герцогом, под этим прошением, обращённым к его сыну, безоговорочно подписался: «вашего императорского величества нижайший раб Антон Ульрих». В прошении этом, после упоминания о тех военных званиях, которые он получил от покойной императрицы, говорилось, между прочим, от имени принца следующее: «а понеже я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради всенижайше прошу...» Здесь следовало прошение об увольнении с присовокуплением просьбы о том, «дабы всемилостивейшее определение учинить, чтобы порозжия⁶⁴ чрез то места и команды паки достойными особами дополнены были».

В то время, когда мамка убаюкивала императора, регент с довольным выражением лица подписывал, вследствие этого прошения, от имени Иоанна III указ военной коллегии об отставке его любезнейшего родителя и в просьбе которого, как заявлялось в указе, не мог отказать государь-младенец.

– Хорошо отомстил я ей, – думал регент, – она хотела быть неразлучно с своим сыном, пусть же теперь увидит, что я не придаю этому никакого значения и даже согласен, чтобы при нём был неотлучно и его родитель. Пусть эта чета наслаждается своим семейным счастьем; посмотрим, что будет!..

С изумлением узнала принцесса о поступках регента с её мужем, и давно накипевшая у неё против него злоба обратилась теперь в неукротимую ненависть. Казалось, что обычная вялость её исчезла, она готова была идти на все опасности, и в первый ещё раз в оскорблении, нанесённом её мужу, она увидела свой собственный позор и поклялась в душе отомстить герцогу за то унижение, которое ей приходилось теперь испытывать.

После отставки принц Антон утратил всякое значение, прекратились все почести, которые воздавались ему прежде как отцу государя, никто уже не целовал его руки, как это делалось прежде, но все униженно лобзали руку герцога. Сенат издал уже указ о титуловании герцога «высочеством», о чём было объявлено в Петербурге с барабанным боем. Все принизились перед герцогом, и даже самые преданные и более смелые люди перестали ездить к принцу и принцессе.

Вследствие всего этого находившиеся в Петербурге дипломатические агенты были поставлены в большое затруднение, как держать себя в отношении принцессы и её мужа. Французский посланник маркиз де ла Шетарди обратился к своему двору с депешей, в которой спрашивал: должен ли он оказывать принцессе Анне те же почести, какие воздавались ей прежде лишь из угодливости перед покойной царицей, или же считать её только принцессой Брауншвейгской? Ясно было, что теперь принцесса не только не приобрела большого значения, но,

⁶⁴ Порозжий – пустой, незанятый (пск., нвг.). (Примечание автора).

напротив, даже потеряла и прежнее. Маркиз спрашивал наставления и о том, как поступать ему в отношении к принцу Антону? Но самый щекотливый пункт в этой депеше был тот, который касался не дипломатических недоразумений, а сердечных дел герцога Курляндского.

«В упоении своей власти, – писал маркиз, – у герцога может явиться намерение ухаживать (*de tenir sa cour*) за дочерью Петра I. Каким образом я должен поступать в этом случае?» Как ни странным мог показаться версальскому кабинету этот новый вопрос, но он был вполне уместен со стороны тонкого и предусмотрительного дипломата. Общественный говор в Петербурге давно уже твердил, что обладать принцессой Елизаветой было заветной мечтой герцога, который рассчитывал на скорую кончину своей болезненной и расслабленной Бенигны, намереваясь в случае этой утраты предложить свою руку цесаревне Елизавете. Так толковали одни, другие же, находя, что пообрюзгший пятидесятилетний герцог несколько стар для того, чтобы быть мужем цветущей Елизаветы, замышляет обвенчать её со своим сыном. Но в этом последнем случае оказалась бы ещё более неблагоприятной разница между годами жениха и годами невесты, так как принц Пётр Курляндский был моложе Елизаветы на пятнадцать лет, тогда как сам герцог был старше её восемнадцатью годами. Следственно, в отношении возраста брак герцога с цесаревной представлялся более подходящим, нежели брак с ней его старшего сына.

Молва об особом расположении герцога к цесаревне подтверждалась всё более и более.

Он имел с цесаревной частые беседы, длившиеся нередко по несколько часов.

В то время, когда Анна испытывала от него ряд и сильных, и мелких неприятностей, он оказывал Елизавете чрезвычайное внимание, и Анна ясно увидела в Елизавете опасную для себя соперницу. До Анны Леопольдовны стали доходить вести, что все делаемые ей со стороны герцога притеснения клонятся к тому, чтобы принудить её, под видом собственного её желания, уехать вместе с мужем в Германию. Рассказывали ей также, что в одном многолюдном собрании, в котором была и Елизавета, герцог, жалуясь на неприязненные к нему отношения принцессы, не стесняясь нисколько, заявил, что если она и впредь будет держать себя так, как держит теперь, то он вышлет из России в Германию и её, и её мужа, и её сына и вызовет в Россию герцога Голштинского, родного внука Петра Великого. Опасно было пренебрегать угрозами регента, а обстановка принцессы была такова, что ему не трудно было привести их в исполнение. После удаления от службы принца Антона не было у неё никакой внешней поддержки, так как начальство над всеми гвардейскими полками получили приверженцы герцога: сила была на его стороне, и справиться с ним казалось делом нелёгким.

XIV

Для постоянных сношений с принцессой регент избрал фельдмаршала графа Миниха. Казалось, этот человек как нельзя более должен был соответствовать такому назначению. После смерти императрицы он явился самым усердным сторонником регентства герцога, который потому и мог вполне положиться на него, как на самого преданного человека. Независимо от этого Миних имел и другие качества, пригодные для успешного исполнения возложенной на него обязанности, а пожилые годы фельдмаршала – ему было уже под шестьдесят лет – отклоняли всякую мысль о возможности нежных отношений между ним и Анной Леопольдовной. Ошибочно было бы, впрочем, представлять Миниха старым, суровым воином, утомлённым трудными походами и боевыми подвигами. Напротив, он был ещё пылок, как юноша, и слишком чувствителен к прелестям молоденьких женщин; черты лица его были прекрасны, он был высок ростом, строен и развязен, а в движениях его было много приятности и ловкости. Он отлично танцевал и казался гораздо моложе своих лет. Миних считался одним из самых любезных кавалеров петербургского двора и слыл большим дамским угодником. Когда находился он в обществе дам, то старался выказывать весёлость и ловкость, отзывавшуюся, впрочем, немецкой сентиментальностью. С томными глазами прислушивался он к чарующему его голосу женщины и, наслаждаясь её разговором, вдруг приходил в восторг, схватывал руку своей собеседницы и покрывал её поцелуями⁶⁵.

Такого приставника назначил регент к принцессе, и Миних не только по делам, но и так, без всякой надобности, пользуясь правом свободного входа к принцессе, очень часто навещал её. Посещение Анны Леопольдовны было для старого любезника тем более приятным развлечением, что он у неё постоянно встречался с Юлианой Менгден, весёлой, бойкой и, как сам он, говорливой девушкой. Принцесса ещё и прежде чувствовала расположение к фельдмаршалу; в нём ей нравились его отвага и решительность, и как будто какой-то тайный голос подсказывал ей, что только один он может переменить к лучшему её печальную участь. Предчувствие не обманывало её: в ту пору – в пору политических измен, перебежек с одной стороны на другую, выдач друзей и приятелей, продажности самых высоких чувств – Миних, при своём ничем не удовлетворимом честолюбии, не составлял исключения в хорошем смысле. Регентство герцога Курляндского он поддерживал единственно из личных расчётов, воображая, что только лишь власть будет в руках герцога, он, Миних, может получить от него всё, что пожелает; Миних предполагал, что герцог будет носить только титул, а вся власть регента будет принадлежать не кому иному, как ему, фельдмаршалу. Миних хотел руководить делами в звании генералиссимуса всех сухопутных и морских сил. Всё это не могло понравиться регенту, знавшему Миниха слишком хорошо и слишком опасавшемуся его, для того чтобы решиться поставить фельдмаршала в такое положение, в котором он мог бы вредить ему. Поэтому регент не исполнил ни одной из его просьб. Впрочем, при жизни императрицы Анны честолюбивые виды фельдмаршала простирались ещё далее. Когда он вступил с войском в Молдавию, то ещё до покорения этой страны просил сделать его молдавским господарем, и, по всей вероятности, он успел бы в этом, если бы Молдавия осталась за Россией. Вынужденный по заключении мира оттуда вернуться на стоянку на Украину, он задался гораздо более странным намерением: он пожелал носить титул герцога украинского и подал об этом прошение через Бирона. Выслушав доклад по этой просьбе, императрица насмешливо сказала:

– Миних ещё очень скромн; я думала, что он попросит титул великого князя Московского.

⁶⁵ Характеристика Миниха основана на письмах леди Рондо. (Примечание автора).

Никакого другого ответа не дала государыня на это прошение, и о нём не было уже более речи, но честолюбие по-прежнему кипятило Миниха.

После услуг, оказанных герцогу Минихом, в фельдмаршале зародились новые затеи, но он вскоре должен был разочароваться и теперь, негодуя на регента, направил свои смелые замыслы в совершенно противоположную сторону, сделавшись из усердного приверженца герцога заклятым его врагом.

– Отчего, вы, ваше высочество, всегда дрожите, когда является к вам герцог? – спросил однажды Анну Леопольдовну Миних после ухода от неё регента, который, войдя к ней, сказал ей несколько сухих отрывистых фраз и вышел поспешно из комнаты⁶⁶.

Принцесса не отвечала ничего.

– Вы, верно, его очень боитесь?..

На глаза Анны Леопольдовны навернулись слёзы.

– Напрасно, совершенно напрасно, – ободрительно заговорил Миних.

– Это ничего более, как старая причина бояться герцога, когда я была молоденькой девочкой... – заминаясь, проговорила принцесса.

– То было совершенно другое время, – перебил Миних, – тогда ваше высочество были поставлены в иное положение, а теперь?

– Что же теперь? – живо спросила принцесса, смотря пристально в глаза фельдмаршалу. – Теперь, кажется, ещё хуже...

– Последние ваши слова только отчасти справедливы... Простите меня, ваше высочество, если я скажу вам прямо, что вы сами виноваты, позволяя регенту поступать с вами и с принцем так, как поступает он. Ведь в манифесте или в уставе о регентстве сказано, чтобы регент императорской фамилии достойное и должное почтение показывал и по их достоинству о содержании оных попечение имел. А разве регент исполняет это?

– Ну что же мне делать: принц только попытался возразить регенту, и чем кончилась эта попытка? Я же осталась виновата, за то, что подбила его к этому.

– Между принцем и вами – большая разница, и что герцог решился позволить себе в отношении к принцу, того он никак не посмеет сделать в отношении к вам, как по вашим личным правам, так и из уважения к вам, как к женщине...

– О, герцог не так любезен с женщинами, как вы, фельдмаршал.

– В этом я с вами, ваше высочество, совершенно согласен. В отношении прекрасного пола я всегда был и до конца жизни останусь средневековым рыцарем, и вашему высочеству, как даме моего сердца, стоит только пожелать – и моя шпага, и моя жизнь будут у ваших ног...

Говоря это, Миних встал с кресел и, приложив правую руку к сердцу, почтительно склонился перед принцессой.

– Но что же вы можете сделать с герцогом? – недоверчиво и с грустной улыбкой спросила Анна.

– Арестовать его, – твёрдым голосом проговорил Миних.

– Арестовать герцога? Арестовать регента? – с изумлением вскричала принцесса, вскочив с кресел.

– Да... и во всякое время, когда только вашему высочеству угодно будет приказать это, – сказал Миних с такой уверенностью, как будто речь шла о каком-нибудь ничего не стоящем деле.

– Вы шутите, любезный фельдмаршал, это невозможно...

– Я докажу вашему высочеству, что возможно...

– Притом вы...

⁶⁶ О том, что принцесса дрожала при входе регента, упоминает Миних в своих записках. (Примечание автора).

– Вам, вероятно, угодно сказать, что я сторонник регента, что я поддержал его в трудную минуту, – это правда. Но, ваше высочество, – продолжал сентиментальный старик, – Миних прежде всего рыцарь, и если он видит страдания и слёзы молодой женщины, он забывает всё; для него тогда не существует никаких личных расчётов. Притом все чувства и привязанность должны замолкнуть, когда требует благо государства. Положитесь вполне на меня, и вы увидите, что торжество будет вскоре на вашей стороне. Обратите, ваше высочество, внимание на те последствия, какие могут произойти, если герцог останется регентом до совершеннолетия вашего сына. Он ещё в звании обер-камергера стоил империи несколько миллионов, а теперь, сделавшись полновластным правителем на шестнадцать лет, он, вероятно, вытянет ещё и из казны, и из народа шестнадцать миллионов, если не более. Притом, так как одним из пунктов завещания покойной императрицы герцог и министры уполномочены по достижении вашим сыном семнадцатилетнего возраста испытать его способности и обсудить, в состоянии ли он управлять государством, то никто не сомневается, что герцог найдёт средство представить императора слабоумным, и тогда герцог, пользуясь своей властью, возведёт на престол сына своего, принца Петра, бывшего жениха вашего высочества. Я говорю с вами откровенно, и потому в настоящую минуту должен сообщить вам, что безумная дерзость герцога по случаю предположенного им брака доходила даже до того, что на ваше высочество были возводимы самые недостойные клеветы, говорили, что граф Линар...

– Прекратите этот разговор, фельдмаршал, – торопливо вскрикнула принцесса, с трудом сдерживая охватившее её волнение, – об этом поговорим в другое время, а теперь вы мне так убедительно высказались насчёт моих обязанностей, как матери государя, что я готова... Нет... Дайте мне время подумать хоть до следующего вечера.

– Тем лучше, я сегодня обедаю у герцога и постараюсь выпытать от него те сведения, которые могут мне пригодиться. Позвольте мне только явиться к вам во всякое время дня и ночи: может неожиданно выдаться удачная минута, и неблагоприятно не воспользоваться ею. Согласны вы, ваше высочество, дать мне такое разрешение?

Принцесса немного призадумалась.

– Согласна! – сказала она решительным голосом. – Я вполне полагаюсь, фельдмаршал, на вашу смелость и на ваше благоразумие.

XV

Был первый час ночи на 9 ноября 1740 года. Сладким сном спала фрейлина Юлиана Менгден, в то время когда вошедшая в её спальню камер-медхен начала будить её, говоря, что фельдмаршалу графу Миниху необходимо тотчас же её видеть. Живая и проворная Юлиана быстро вскочила с постели и принялась торопливо одеваться, хватая спросонья невпопад то одну, то другую принадлежность своего костюма. Между тем Миних, постукивая слегка пальцем в дверь её спальни, говорил, что с ним, стариком, церемониться незачем; что пусть баронесса примет его в том же самом наряде, в каком она теперь; что она так прелестна, что красота её не потеряет ровно ничего от самого простого ночного убора; что ждать ему нельзя, так как дело, по которому он теперь пришёл, не терпит ни малейшего отлагательства. С трудом могла удержать Юлиана за дверями спальни порывавшегося к ней старика и, одевшись кое-как, на скорую руку, поспешила выйти к фельдмаршалу.

С обычной своей любезностью, поцеловав ручку заспанной красотки, Миних сказал ей, чтобы она, не медля нисколько, пошла к Анне Леопольдовне и доложила ей, что ему сейчас же необходимо переговорить с ней по такому делу, от которого зависит и участь самой принцессы, и её сына, и судьба всего государства. Несмотря на всю близость к принцессе и на свойство с Минихом, фрейлина ничего не знала о том, что предпринимала Анна Леопольдовна, так как Миних внушил принцессе, чтобы она никому об этом не говорила, даже и своему мужу. Впрочем, последнее предостережение было напрасно, так как Анна никогда не думала посвящать своего супруга в какие бы то ни было тайны, и она только улыбнулась, выслушав такое предостережение со стороны Миниха.

Юлиана недоумевала, что всё это может значить, и тем более удивлялась такому слишком позднему появлению Миниха, что ей хорошо были известны предосторожности, какие принимались для того, чтобы никто не мог проникнуть в Зимний дворец ночью, когда всё здание было оцеплено сильным караулом и у каждого входа стояли часовые, получавшие строгий приказ не пропускать во дворец решительно никого, под каким бы то предлогом ни было. В то же время и свойственное всем, и в особенности женщинам, любопытство подбивало Юлиану разузнать поскорее причину прихода Миниха к принцессе.

– Но зачем же вам нужно видеть её высочество в такую позднюю пору? – пытливо спросила она фельдмаршала.

– При всём моём безграничном к вам уважении и полном моём доверии к вашей скромности, – отвечал почтительно Миних, – я не считаю себя вправе сообщить вам об этом и только прошу – позволяю себе даже сказать – требую, чтобы вы сейчас же доложили обо мне её высочеству.

Фрейлина сделала прямо в лицо Миниху насмешливую гримаску, как бы желая сказать: «Вот какой ещё важный господин выискался!» – и затем, уступая настоятельному требованию Миниха, пошла к Анне Леопольдовне, пригласив его следовать за собой в уборную принцессы. Попросив фельдмаршала подождать там, она вошла в спальню.

Утомлённая душевными волнениями, испытанными в течение дня, крепко спала теперь Анна Леопольдовна, как будто позабыла о бывшем у неё разговоре с Минихом, требовавшем бодрости, а не сна. Принцесса вздрогнула, её обдало и жаром, и холодом, и сильно забилося её сердце, когда Юлиана шёпотом сказала ей о приходе Миниха. Как ни осторожно будила Юлиана принцессу, но принц проснулся и спросил жену: зачем встаёт она?

– Мне нездоровится немного, а ты спи, – сказала она⁶⁷.

⁶⁷ Рассказ Миниха-сына. (Примечание автора).

Принц послушался жену и, не выбиваясь из сна, захрапел, повернувшись только на другой бок.

Принцесса знала, зачем явился к ней фельдмаршал и, силясь преодолеть боязнь и волнение, она, в одной ночной кофточке, с повязанным на голове шёлковым платочком, побежала в уборную к Миниху, ожидавшему её там в парадном мундире с голубой через плечо лентой.

– Нельзя медлить долее, – торопливо проговорил Миних, – и я, согласно данному вами разрешению, явился к вашему высочеству, чтобы получить немедленно ваше приказание арестовать регента.

– И неужели же вы решились окончательно на это?.. – вскрикнула принцесса, всплеснув руками.

– Твёрдо решился, ваше высочество, и я сумею устроить всё это дело; вы же успокойтесь, положитесь на меня; и я сию же минуту возвращусь к вам.

Сказав это, Миних вышел в соседнюю с уборной комнату, где, прокравшись за ним и за Юлианой, находился адъютант его, подполковник Манштейн, которому фельдмаршал приказал пойти на дворцовую гауптвахту и призвать к принцессе всех бывших в карауле офицеров. Несмотря на то, что Манштейну приходилось пробираться в потёмках по комнатам и коридорам дворца, он живо исполнил данное ему приказание, а между тем Миних доказывал принцессе необходимость арестовать герцога, убеждал её ободриться, ручаясь, что всё окончится скоро и благополучно, и подучал её, как следует ей говорить с вызванными к ней офицерами.

В залу, смежную с уборной, вошли караульные офицеры Преображенского полка, не понимавшие, о чём идёт теперь дело, и терявшиеся в догадках, зачем в такую позднюю пору могла потребовать их к себе принцесса.

Происходившая в это время сцена освещалась канделябром, который держала в дрожащих руках Юлиана. Принцесса встала перед офицерами, собираясь с силами, чтобы сказать им несколько слов, внушённых ей Минихом, и почувствовав, что взгляд одного из молодых людей пристально устремлён на неё, опустила глаза книзу и, покраснев, быстро запахнула раскрывшуюся на груди её кофточку.

– Вы, конечно, знаете те несправедливости и те притеснения, какие наносит регент матери вашего государя и его отцу, – начала принцесса, – а так как мне невозможно и даже постыдно терпеть долее все эти оскорбления, то я решилась, наконец, арестовать герцога, поручив фельдмаршалу графу Миниху исполнить моё приказание при вашем участии, и я надеюсь, что вы поможете ему в этом. . .

Несмотря на врождённую робость и сильную застенчивость принцесса произнесла эту коротенькую речь твёрдым голосом и с большим одушевлением. В столпившейся около неё кучке офицеров послышался в ответ на эти слова одобрительный говор. Они стали подходить к руке принцессы, а она обнимала каждого из них, целуя в щёку. Офицеры вышли из залы, произнося угрозы регенту.

Теперь оставалось принцессе проститься с Минихом, которого ожидало или торжество, или смертный приговор. Фельдмаршал упал на колени перед Анной Леопольдовной, схватил её руку, крепко прижал её к своему ровно бившемуся сердцу и затем стал осыпать поцелуями. Он не забыл проститься с Юлианой и, пользуясь тем, что руки её были заняты, звонко чмокнул её в свежие пунцовые губки. Такая вольность казалась простительной человеку, шедшему на погибель. Смотри на нежные и шаловливые поцелуи фельдмаршала, трудно было предположить, что он решается идти на опасную и суровую расправу со своим недругом, но Миних не терял никогда ни присутствия духа, ни весёлости.

Осторожными шагами пошли фельдмаршал и сопровождавшие его офицеры, и, спустившись в караульную, Миних приказал солдатам зарядить ружья. Один офицер и сорок нижних чинов были оставлены на дворцовой гауптвахте при знамени, а восемьдесят человек, вместе с фельдмаршалом, его адъютантами и прочими офицерами, отправились к Летнему дворцу, где

жил тогда регент и где ещё стояло тело покойной императрицы. Несмотря на довольно сильный мороз, Миних был в одном мундире; он шёл между офицерами и солдатами, а посреди этого небольшого отряда ехала карета фельдмаршала, в которую он намеревался посадить герцога, если ему удастся арестовать его.

Если в эту роковую ночь крепко спали и Юлиана, и принцесса, и её супруг, то едва ли не крепче ещё, чем они, спал тридцатилетний сын фельдмаршала, граф Иоанн Эрнест Миних, проводивший теперь медовый месяц после брака с баронессой Доротеей Менгден, сестрой Юлианы. Он был в эту ночь дежурным камергером при императоре и в соседней с его спальней комнате «лежал в приятнейшем сне», не ведая решительно ничего о том, что предпринял его отец и что сейчас только что произошло поблизости от него. Вдруг он почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до него и как будто будит его⁶⁸.

Миних открыл глаза и ужаснулся...

На его постели сидела Анна Леопольдовна. Проходивший из дверей другой комнаты свет падал на её бледное лицо; выбившиеся из-под платочка тёмные волосы рассыпались в беспорядке по её плечам; она тяжело дышала, лихорадочно смотря на Миниха, который думал, что возле него не женщина, а привидение. Но он тотчас убедился в действительности того, что видел, и дрожащим голосом спросил: «Что это значит?..»

– Любезный мой Миних, – отвечала шёпотом Анна, – знаешь ли ты, что предпринял твой отец!..

Миних с изумлением смотрел на неожиданную ночную посетительницу, думая, что она находится в бреду или совсем лишилась рассудка.

– Он пошёл арестовывать регента... Дай Боже, чтобы ему удалось это!.. – добавила Анна Леопольдовна с глубоким вздохом, с трудом привставая с постели на подкашивавшиеся ноги.

– И я того же самого желаю, – пробормотал Миних, не сознавая ещё отчётливо спросонья, что делается вокруг него. – Отец мой ушёл арестовывать регента? Так вы изволили сказать?.. – переспросил Миних, как бы желая убедиться в том, что он слышит.

– Да... – отвечала принцесса.

– В таком случае успокойтесь; если он решился на это, то, наверно, заранее обдумал всё и, без всякого сомнения, принял самые надёжные меры...

– Мне страшно, невыносимо страшно! Встань поскорее, Миних, и приди ко мне: я одна с Юлианой... – произнесла принцесса.

С этими словами из комнаты Миниха Анна Леопольдовна перешла в спальню своего сына, и какие страшные, томительные минуты переживала теперь она! Возбуждённая в ней старым Минихом бодрость покинула её после его ухода, и она, оставшись только с молодой девушкой, сознавала всю беспомощность своего настоящего положения. Что будет с ней, если смелое, по-видимому, даже безумное предприятие Миниха не удастся? Слабый дворцовый караул, если бы даже он и решился отчаянно постоять за неё, не в силах был охранить Анну Леопольдовну от регента. Её захватили бы врасплох, а к бегству между тем не было сделано никаких приготовлений.

Одевшись наскоро, Миних явился к принцессе, но этот молодой, прекрасно образованный человек был очень пригоден для светских весёлых собраний, но никак не в настоящие грозные минуты. Он попытался было развлечь Анну Леопольдовну то тем, то другим рассказом, но она вовсе не слушала его. Видя неудачу своих попыток, Миних примолк. Примолкла и щебетавшая без усталости Юлиана, и теперь молча, заботливым взглядом следила она за принцессой, которая то ходила по комнате быстрыми шагами, то, падая на колени перед образом, и мысленно, и громко творила усердную, бессвязную молитву.

⁶⁸ Рассказ этот основан на «Записках» Миниха-сына. (Примечание автора).

Глубокая тишина была и во дворце, и на улице. Анна Леопольдовна подошла к окну и взглянула в него. За Невой не было уже видно ни одного огонька; среди морозной ночи ярко дрожали звёзды на тёмном небе; над Выборгской стороной медленно вставал бывший на убыли месяц. Слабым блеском отражался он на золочёном шпиле и куполе Петропавловского собора, бросая унылый свет на тёмные стены крепости и на белую пелену снега, покрывавшего только что ставшую Неву. Чутко прислушивалась Анна Леопольдовна, и до её слуха доносились теперь и разноголосый лай псов, и протяжные оклики часовых, и раздававшийся то в той, то в другой стороне стук сторожевых трещоток. Среди этих обыкновенных ночных звуков испуганному её воображению чудились и какие-то отдалённые клики, и бой барабанов, и движение шумной толпы.

Ей вдруг казалось, что в комнату входит грозный, рассвирепевший регент с ватагой покорных своих прислужников, что он осыпает её угрозами и оскорблениями, что её, по его приказанию, навеки разлучают с сыном. В ужасе подбегала Анна к колыбели и тревожно смотрела на спавшего безмятежным сном младенца. Ей живо представилось теперь, какие страшные пытки и казни ждут её смелых сообщников, и предчувствовалось, что и самой ей готовится если не плаха, то безысходное, суровое заточение в далёкой, холодной глуши. Она трепетала всем телом, в припадках отчаяния ломала руки и, озираясь по сторонам, как будто искала помощи и сострадания.

– На кого мне надеяться, – думала принцесса, – на мужа?.. – И при этой мысли горькая презрительная улыбка пробегала по её губам, а сердце напоминало ей о любимом человеке. «Если бы со мной был теперь Мориц, – думалось молодой женщине, – то как бы я была бодрa и смела, и даже гибель с ним вместе не пугала бы меня...»

Время шло своим чередом. Куранты на колокольне Петропавловского собора разыгрывали в свою пору заунывные мотивы, и вслед за тем разносился протяжный бой часов. Пробило два часа, пробило три и, наконец, четыре, а старик Миних всё не являлся. Что стало с ним? Чем окончилась борьба смельчака и горстки его спутников с могущественным регентом, в распоряжении которого были все военные силы столицы?..

Истомлённая долгим ожиданием, Анна Леопольдовна прилегла на канапе. Юлиана села у неё в ноги и, взяв её руку, крепко держала её в своей руке, и обе они чувствовали теперь, как сильная нервная дрожь пробегала по ним. Пробило, наконец, и пять часов; раздался благовест к заутрене. Скоро забрезжит и утро, а фельдмаршала нет как нет! В это время вместо него в дверях показался заспанный принц. Проснувшись, он был озадачен продолжительным отсутствием жены и отправился отыскивать её. Он побледнел как мертвец и затрясся как осиновый лист, когда узнал от жены о том, что она затеяла с Минихом и что пока ещё не известно, чем кончится это отважное мероприятие.

Заикаясь, он хотел было укорять её за безрассудство, но вдруг на улице послышался какой-то неопределённый отдалённый шум, который приближался и становился всё явственнее, и вскоре под окнами дворца стали раздаваться смелые голоса. Все замерли в ожидании близкой развязки... Прошло ещё несколько минут, и в залах дворца раздались чьи-то твёрдые, быстрые шаги. Принцесса кинулась к колыбели своего сына и заслонила его собой. Юлиана подбежала к Анне и, обхватив её рукой вокруг шеи, крепко прижалась к ней, а в это время с громким плачем пробудился испуганный младенец-император...

XVI

– Поздравляю вас, ваше высочество! – громким голосом говорил Миних, широко расворяя перед собой двери. – Регента уже нет!

– Как нет? Неужели он убит? – вскрикнула Анна Леопольдовна.

– Успокойтесь на этот счёт: он жив; но теперь он в вашей власти – вы правительница империи.

Юлиана бросилась обнимать принцессу.

– Вот и мы попали в правительство!⁶⁹ —повторяла она и при этом хлопала в ладоши, весело подпрыгивала и, казалось, сама не знала, что делала от радости.

Миних преклонил колени перед Анной и торжественно поцеловал край её юбки, так как принцесса ещё по-прежнему оставалась в ночном уборе. Потом он поцеловал протянутую ему Анной Леопольдовной руку, а она, нагнувшись к нему, трижды облобызала его. Между тем Юлиана, не давая ещё встать старику с пола, кинулась ему на шею и принялась целовать его. Принцесса стояла несколько мгновений задумавшись и потом, как будто опомнясь, спросила своего избавителя:

– Чем же я могу наградить вас, фельдмаршал?

– Я не кончил ещё начатого мной дела; теперь вы только правительница, но если вам угодно, то сегодня же императорская корона будет принадлежать вам...

– Нет! Нет!.. Я не хочу короны... – торопливо, с испугом проговорила принцесса, сделав рукой движение, как будто она отталкивала что-то от себя.

– Я могу доставить её вам, – проговорил Миних с горделивым сознанием своей силы.

Принцесса отрицательно покачала головой.

– Гм! – пробормотал Миних. – Но что же угодно будет вашему императорскому высочеству? – спросил он недоумевающим голосом.

– С титулом великой княгини я провозглашу себя правительницей на время малолетства моего сына... и только.

– Воля ваша будет исполнена, – сказал, почтительно кланяясь, Миних.

– Но вы, любезный граф, должно быть, очень устали, вам нужен отдых, – заметила Анна Леопольдовна. При этих словах принц, молодой Миних и Юлиана кинулись подставить старику кресла, на которые он и сел по приглашению принцессы.

– Я не спросила ещё вас о том, где теперь регент и где его семейство? – сказала она.

– Регент находится в нижнем этаже вашего дворца, он сдан в надёжные руки... Но позвольте мне, ваше высочество, доложить вам о наших ночных похождениях.

Все присутствующие с напряжённым вниманием стали слушать фельдмаршала.

– Не доходя шагов двести до дворца, – начал он, – я остановил мою команду и приказал Манштейну идти с двадцатью солдатами в Летний дворец и схватить регента. Чтобы не делать шума, Манштейн пошёл один вперёд, а солдаты шли от него в некотором отдалении. Часовые, бывшие около дворца, зная его в лицо как моего адъютанта, думали, что он послан за чем-нибудь от меня к герцогу, и беспрепятственно пропустили его. Он прошёл сад и попал благополучно во дворец, но встретил затруднение, не зная, в какой комнате спал герцог. Избегая малейшей тревоги, он не решился даже спросить об этом у дежурных и пошёл наугад. Прошёл он две комнаты и очутился перед дверью, запертой на ключ, на счастье, однако, дверь была створчатая, а её верхние и нижние задвижки, видно, забыли задвинуть. Поэтому Манштейн отпер её без большого труда и очутился в спальне герцога. Здесь спали глубоким сном он и герцогиня. Манштейн подошёл к кровати, отдернул занавес и сказал, что имеет дело до регента.

⁶⁹ Подлинные слова Юлианы. (Примечание автора).

Супруги в ту же минуту проснулись и оба начали громко кричать, догадавшись, что адъютант мой не по добру явился к ним ночью в спальню. Герцог хотел было спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его и крепко держал, а между тем гвардейцы, забравшиеся в свою очередь, во дворец, услышав крик и возню, кинулись на выручку своему командиру. Герцог стал отбиваться от них кулаками, но наши молодцы не стеснялись уже с ним. Делать было нечего – пришлось бить его прикладами. Затем герцога повалили на пол, засунули в рот платок, связали ему руки офицерским шарфом, и так как он был в одной только сорочке, то на него набросили солдатскую епанчу, положили его в мою карету и в таком виде привезли его сюда.

Миних говорил наскоро. Сильно билось сердце Анны Леопольдовны, и когда рассказ фельдмаршала дошёл до расправы с Бироном, она закрыла лицо руками. Миних смолк.

– Слава Богу, что хоть этим всё кончилось! Я ожидала ещё более ужасного, – сказала Анна Леопольдовна, перекрестясь со слезами на глазах.

– А что ж герцогиня? – спросила она заботливо тревожным голосом.

– К сожалению, и ей в этом случае пришлось несколько пострадать. Она в одной рубашке выбежала за мужем на улицу, и хотя Манштейн приказал отнести её обратно во дворец, но солдат на этот раз не послушал его приказания и, сказав: «чего возиться с ней!» – бросил герцогиню в снег. Командир караула нашёл её в самом жалком положении. Он велел сбегать за её платьем и отнести её в спальню. Так как она была нам вовсе не опасна, то я и оставил её пока в Летнем дворце. Брат герцога тоже арестован; он хотел было сопротивляться со своим караулом, но сдался, когда ему сказали, что герцог арестован. Я приказал тоже взять под караул и Бестужева, что уже исполнил мой адъютант, Кенигсфельс.

– Я не могу надивиться, как вам, фельдмаршал, удалось арестовать регента!.. – вздрагивая, сказала Анна Леопольдовна.

– Да, ваше высочество, я шёл на опасное дело, – отозвался Миних, желавший выставить свой подвиг геройством, хотя сам он и знал, что легко мог арестовать регента даже среди белого дня, так как никто не заступился бы за него. – Представьте, что было. От вас, как я вам уже говорил, я поехал обедать к герцогу; он принял нас чрезвычайно любезно, и мы заговорились до поздней ночи. Он был, однако, задумчив и, озабоченный чем-то, часто менял разговор. Вдруг ни с того ни с сего он спросил меня: «Не предпринимали ли вы, фельдмаршал, во время ваших походов каких-нибудь важных дел ночью?» Признаюсь, этот неожиданный вопрос сильно озадачил меня: мне представилось, что регент догадывался о моём намерении; но я не смутился и спокойно отвечал ему, что не помню, случалось ли мне предпринимать что-нибудь особенное ночью, добавив, впрочем, что постоянным моим правилом было, несмотря ни на день, ни на ночь, пользоваться всеми обстоятельствами, если только я их находил благоприятными для себя. Герцог одобрил это правило, но мне в голову крепко запала мысль, что вопрос о ночных предприятиях был недаром. Я решился действовать безотлагательно и потому, сделав некоторые предварительные распоряжения, позволил себе явиться к вашему высочеству в такую позднюю пору, чтобы получить ваше приказание...

В это время раздался грохот барабанов, принцесса встрепелулась.

– Не тревожьтесь, ваше высочество, – сказал Миних, – это по моему приказанию войска спешат ко дворцу; вам надобно одеться и показаться перед войском и народом, представив им императора.

Все уже суетились в Зимнем дворце. Арест герцога переполошил всех, а барабанный бой поднял на ноги жителей Петербурга. Позднее ноябрьское утро ещё не наступило, был полумрак, и никто не знал, что происходит, а между тем густые толпы народа двигались ко дворцу следом за войсками. Всё произошло так быстро, немцы так неожиданно и так ловко расправились друг с другом, что даже тогдашний главный начальник петербургской полиции, князь Яков Петрович Шаховской не мог взять в толк, что делалось в городе, в котором сохранение тишины и спокойствия было вверено непосредственной его бдительности.

«Я поздно, – писал в своих «Записках» князь Шаховской, – в оную ночь «с 8 на 9 ноября» заснул; но прежде рассвету приедем ко мне офицером был разбужен, который мне объявил, что во дворец теперь множество людей съезжаются, гвардии полки туда же идут и что принцесса Анна, мать малолетнего императора, приняла правление государственное, а регент Бирон с своей фамилией и кабинет-министр граф Бестужев взяты фельдмаршалом Минихом под караул и в особливых местах порознь посажены. Итак, – продолжает первенствующий блюститель благочиния, – спешно одевшись и ко дворцу приехав, увидел множество разного звания военных и градских жителей, в бесчисленных толпах окружающих дворец, так что карета моя, до крыльца по невозможности проехать, далеко остановилась, а я, выскоча из оной, с одним провожающим команды моей офицером спешно пробирался сквозь людей на крыльцо, где был великий шум и громкие разговоры между оным народом; но я, того не внимая, бежал вверх по лестницам в палаты, и как начала, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле начинателем, и кто производитель и исполнитель, не зная, не мог себе в смысл вообразить, куда мне далее идти и как и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, туда же спешно меня обегавшими. Но большею частью гвардии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь, смело, в весёлых видах и не уступая никому места, ходили; почему я вообразить мог, что сии-то и были производителями оного дела».

Миних, по захвате регента, распорядился известить о происшедшей перемене правления всех вельмож, вследствие чего они мчались теперь в Зимний дворец; войска и народ беспрепятственно прибывали на дворцовую площадь. Придворная церковь и дворцовые залы мгновенно осветились множеством свечей; и здесь, и там, на лестницах и на улицах слышались весёлые клики и радостные поздравления с новой правительницей.

В пышном наряде, блистая бриллиантами, явилась молодая правительница в церковь, где наперерыв один перед другим спешили принести ей присягу на верность придворные, военные и гражданские чины; перед дворцовой церковью была такая давка, что трудно было протиснуться туда даже самым сановным лицам. В галерее, ведущей в церковь, быстро переходили из рук в руки листы бумаги и слышались возгласы: «извольте, истинные сыны отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь, в том Евангелие и крест целовать». Присяжные листы жадно вырывали один из рук других, расспрашивая, что и как следует на них писать, вырывали также и чернильницы, и перья, и каждый подписавшийся силился пробраться в церковь, чтобы взглянуть на правительницу и поклониться ей⁷⁰.

Правительница, несмотря на господствовавшую около неё неудержимую радость стояла в церкви с задумчивым выражением лица, окружённая блестящим сонмом вельмож. Казалось, что её несколько не веселила победа над её врагом и она оставалась совершенно равнодушной к тому величию и к той славе, которые так внезапно озарили её. Разумеется, что печальный вид принцессы среди этого торжества объясняли следами тех сильных волнений, которые она только что испытала перед этим и которые не успели ещё улечься в душе её. Такая догадка была справедлива только отчасти, так как у неё были другие, тоскливые думы. В добром от природы сердце Анны теперь поднималась новая борьба. Освободившись от своего давнишнего притеснителя, она начала жалеть как о нём самом, так и о его семействе; грустные предчувствия и в эти радостные минуты закрадывались в её душу; ей приходили на мысль и предстоящие для неё тяжёлые заботы правления, и её неудавшаяся супружеская жизнь. То напряжённое состояние, в котором она только что находилась, миновало, и она ещё сильнее почувствовала упадок душевных сил, свою беспомощность в новом высоком сане и своё одиночество в изменчивой и продажной среде, окружавшей её. У неё не было надёжного друга, на которого она могла бы положиться. Правительница предвидела, что в чаянии её щедрот и милостей перед ней будет приниженная, послушная и покорная толпа слуг, рабов, угодников и льстецов, но что среди

⁷⁰ «Записки» кн. Я. П. Шаховского. (Примечание автора).

них она не найдёт тех чувств, которые ей казались дороже всего. У неё были теперь власть и сила, но она была не только правительницей государства, но и двадцатидвухлетней женщиной в разгаре молодых мечтаний...

Не только в церкви и в залах дворца, но и на площади можно было легко убедиться, какой восторг охватил всех. Войска и народ радостно и вместе с тем как-то дико заревели, когда правительница в накинутой на плечи бархатной, собольей шубке явилась на балконе Зимнего дворца. То же самое повторилось, когда она показала в окно своего сына-императора. После этого полкам был прочитан на площади манифест о принятии «благоверной» великой княгиней Анной Леопольдовной правления государством в малолетство её сына. Перекаты «ура!» покрывали чтение этого объявления, и шапки высоко летели вверх. Между тем каждый гвардейский батальон составлял особый кружок и приносил под своим знаменем присягу на верность правительнице. Окончание войском присяги было возведено пушечными залпами со стен Петропавловской крепости.

Для принесения правительнице присяги явилась в Зимний дворец и цесаревна Елизавета. Соперницы встретились, по-видимому, весьма дружелюбно. Елизавета со слезами на глазах кинулась на шею своей племяннице и крепко облобызала её в губы и в щёки, потом схватила её руку, чтобы поцеловать, но правительница не допустила до этого. Теперь, без поддержки Бирона, беспечная, ветреная и весёлая Елизавета казалась уже не опасной Анне Леопольдовне, проявившей такую решительность и смелость, а между тем неожиданный переворот, произведённый женщиной при помощи горстки солдат, заронил в приверженцах цесаревны Елизаветы первую мысль о возможности сделать то же самое и в её пользу.

XVII

Весь Петербург в течение нескольких дней только и делал, что толковал о случившемся перевороте. Знакомые ездили друг к другу, стараясь поразведать что-нибудь новенького; болтуны и болтуни, не зная ничего достоверного, принимались сочинять замысловатые рассказы и пускали их в ход как несомненную правду, между тем как рассказы эти были в сущности нелепой выдумкой. Ошеломлённые неожиданностью государственного переворота, представители иностранных держав в Петербурге отыскивали всевозможные лазейки, чтобы поразузнать о таинственных событиях странной ночи, и деятельно строчили своим дворам объёмистые депеши, подхватывая на лету всё, что им удавалось услышать. Услышать же теперь можно было многое. Новое правительство не принимало никаких мер для того, чтобы несколько обуздать и припугнуть даже самых смелых говорунов; усиленные при регенте караулы были отменены, расставленные при нём на улицах и площадях пешие и конные пикеты были немедленно сняты, никто не разгонял собиравшегося на улицах народа, не закрывали ни кабаков, ни бань, и подозрительные шпионские рожи не сновали нигде: они как будто провалились сквозь землю.

Солдаты, остававшиеся перед дворцом на площади, поставив ружья в козлы, похваливали Миниха и в особенности молодцов-преображенцев, арестовавших регента. Весело и громко гудела дворцовая площадь, покрытая народом. По временам по ней проносился какой-то мягкий и перекаатистый шум: начинал один попрозябший солдатик отогреваться, похлопывая рукавицами, глядя на него, принимался делать то же самое его товарищ, а за ним другой, третий, а потом и все, как это обыкновенно бывает в массе людей, приученных к дружным движениям и действиям.

Собравшиеся на площади в кучку гвардейские офицеры, из русских, толковали теперь об участии своих товарищей, схваченных по распоряжению регента.

– А что же, господа, – говорил один из офицеров, – ведь и о товарищах наших подумать следует; за последние дни мы многих из нас недосчитываемся. Куда девались Ханыков, Аргамаков, князь Путятин, Пустошкин?

– Куда девались? – перебил другой офицер, – известно куда; да только запрятали их так хорошо, что не скоро и достанешь.

– Положим, хоть теперь и достанешь, – заметил третий, – да после побывки в застенке куда они годятся? Не жильцы они больше на белом свете, навек искалеченными останутся; кто с поломанной рукой, кто со свихнутой ногой, а кто вдобавок и сухотку подхватил.

– Надобно будет за них, господа, с челобитной от гвардейских полков к её императорскому высочеству отправиться, – отозвался тот из офицеров, который поднял настоящий разговор.

– Незачем, – вмешался один из преображенцев, – сама помилует и достойным образом вознаградит каждого за страдание и за пролитую кровь. Ведь толкуют, что правительница и милостива, и жалостлива. Да и с какой стати нам на первых порах учить её, пусть сама своё милосердие по собственной воле являет. Посмотрим, что будет, а вот если не окажет милостей потерпевшим за неё, так тут другая статья выйдет; и без неё обойдёмся... – добавил он, внушительно посмотрев на своих товарищей.

В другой разношёрстной кучке ораторствовал какой-то старый подвыпивший приказный.

– Ведь вот поди ты, какие случаи бывают!.. Чудны дела твои, Господи! Ещё вчера около полудня видел я сам, как его высочество принц к регенту в гости ехал, а потом встретил их уже вместе: ехали они в Зимний дворец. Кажись, приятелями были.

– Да не только они так катались, – перебил один из толпы, – а видел я, как принц и герцог вместе в герцогский манеж приехали, и подумал: эх, ведь народ-то как много вздору болтает.

Говорили, что они живут промеж собой как собака с волком, а выходит-то на деле, что они друзья закадычные⁷¹...

– Да ведь принц-то тут ровно ни при чём; вот там галдят, – сказал кто-то, указывая рукой в сторону, – что всю эту диковинку обделала ихнее высочество сама по себе.

– А кажись, с виду такая тихая и смиренная будет!.. – подхватила какая-то старушонка, покачивая от удивления головой.

– Ну, уж насчёт женского пола, – отозвался стоявший в кучке толстый купчина, – я вам доложу: тайна сия велика есть. Вот хоть бы примером заявить – моя супружница...

– Что ты, голубчик?.. Никак, с ума спятил?.. – крикнул приказный, – тут мы о делах первостепеннейшей государственной, можно сказать, важности рассуждаем, а ты нам свою супружницу тычешь... Ну её!..

Купчина растерялся, а толпа захохотала и принялась острить на свой лад, но некоторым показалось страшноватым толковать о таких опасных делах, и они стали понемногу пятиться от приказного, зато другие смельчаки ещё более подвинулись к нему. Вдруг бывший среди разговаривавших поп икнул изо всей мочи. Этой неожиданности было достаточно, чтобы внезапный, бессознательный страх обдал всех присутствовавших: они пошатнулись и в ужасе отскочили от оратора.

– Вишь, батька, как пужнул всех, – хохоча во всю глотку, сказал приказный. – Чего, дураки, бежите? Вернитесь! – крикнул он.

Никто, однако, не хотел внять этому призыву. Все пустились наутёк, как стадо испуганных баранов, искоса посматривая, не следует ли кто-нибудь за ними, и, отбежав подальше, радовались, что они избавились от беды подобру-поздорову.

– Что ты, батька, наделал? – укорительно заметил ему приказный.

– Что наделал? Так и должно быть; разве не знаешь, что и в пророчествах написано: «поражу пастыря и рассеются овцы стада», – добавил он не без спесивой торжественности.

– Хорош пастырь!.. Тебе бы не разгонять паству, а собирать её теперь около себя и поучать её, – внушительно заметил приказный.

– Да чему поучать?

– Чему поучать?.. чему поучать? – передразнил приказный. – Нешто не знаешь, что он не крещён?.. – добавил таинственным полусёпотом.

– Кто он?.. – спросил поп, вытаращив глаза.

– Да он!.. А хочешь знать всё, так изволь, тебе скажу. Иди сюда... – и, отведа попу в сторону, приказный начал ему шептать что-то, причём слушатель в недоумении покачивал головой, с любопытством прислушиваясь к словам своего собеседника.

Если бывшая на площади толпа жадно глядела на всё, что происходило теперь перед ней, то ещё более любопытно её подстрекал вопрос о том, как порешат с регентом. В толпе ходил слух, что по этому делу идёт во дворце совет и что как только он кончится, тотчас же «злодея» будут казнить лютой смертью тут же, на площади, перед всем православным народом. Все знали, что герцог сидит под караулом во дворце, и полагали, что там долго его не продержат, а потому и желали посмотреть, чем всё кончится.

Сильно избитый ружейными прикладами и порядочно помятый регент, попавший в неволю, метался сперва, как дикий зверь, запутавшийся в тенетах. Он осыпал страшными проклятиями вероломного Миниха и, не зная, кто был истинным виновником его бедствий, называл всех русских вельмож бездушными и неблагодарными людьми, не стоившими его милостей. Ссылаясь на волю покойной императрицы, герцог заявил, что он законный правитель империи и что те хищники, кто насильственно лишил его принадлежащей ему по праву власти. Он то просил, чтобы принцесса или принц пожаловали к нему, то требовал, чтобы его отвели

⁷¹ О таком отношении принца к регенту передаёт маркиз де ла Шетарди. (Примечание автора).

или к ней, или в совет министров для объяснений, или, наконец, по крайней мере, хотя объявили ему истинную причину его ареста. Он твердил о том, что образ действий в отношении к нему представляет нарушение международных прав, так как независимо от того, что он был регентом империи, он был в то же время и владетельным герцогом Курляндским – государем, не состоявшим ни в какой зависимости от России. Он настаивал на том, чтобы к нему были приглашены представители иностранных держав, находившиеся в Петербурге, дабы он мог им заявить свой протест против оказываемого ему насилия. Всё это он говорил в страшном раздражении, бессвязно, и по-русски, и по-немецки, обращаясь к приставленным к нему караульным офицерам и заявляя об этом врачу и пастору, посетившим его, а также начальнику тайной канцелярии графу Ушакову и генерал-прокурору князю Трубецкому, ещё накануне этого несчастного для него дня так раболепствовавшим перед ним, а теперь пришедшим к нему, чтобы объявить о сделанных от имени правительницы насчёт него распоряжениях.

После порывов неудержимого негодования, переходившего в иступление, герцог впадал в какое-то оцепенение. Он, как расслабленный, опускался в кресла, потом вскакивал, быстро ходил по комнате, плакал, рвал на себе волосы и платье. Но все его протесты, брань, крики, вопли, проклятия и слёзы были совершенно напрасны, никто не тронулся ими, никто не обращал на них никакого внимания: Могущественный ещё за несколько часов регент увидел теперь всё своё бессилие, попавшись во власть молодой женщины, которую он до сих пор считал робкой и не способной ни к каким решительным и крутым мерам. Он увидел всю ошибку, раскаивался в своей опрометчивости и в особенности в своём доверии к Миниху, винил себя в слабости и снисходительности к своим врагам, а между тем доходившие до него с площади отголоски радостных криков приводили его в бешенство. Он то надеялся на милосердие Анны Леопольдовны и считал свой арест только временной, неприятной случайностью, и тогда он несколько приободрялся и успокаивался, то он впадал в отчаяние, и тогда ему мерещились и пытки, и плаха, и он, скрежеща зубами, с диким хохотом закрывал руками искажившееся от ужаса лицо.

Но вот явился к нему грозный Ушаков в сопровождении своих адъютантов и сильного караула. Ушаков объявил герцогу от имени правительницы повеление о немедленном выезде его из Петербурга.

Герцог пошатнулся, но, тотчас же оправившись, он склонил голову и, не говоря ни слова, отдался в руки своих суровых распорядителей, которые, накинув плащ поверх бывшего на нём шлафрока, повели его с лестницы, окружённого со всех сторон штыками.

Едва показался на дворцовом подъезде герцог с низко надвинутой на лицо шапкой, как стоявшая около подъезда толпа тотчас же узнала его по знакомому всему Петербургу его синему бархатному плащу, подбитому горностаем. Народ неистово завопил, и по площади раздались крики: «Вот он, наш злодей и мучитель!», «Сейчас бы и порешить его!», «Что закрыл ты харю, покажи её!» – кричали ему с разных сторон.

Теперь проявилась вся дикая разнузданность грубой черни, которая ещё так недавно с подобострастным страхом преклонялась перед своим властелином, а теперь с проклятиями и ругательствами готова была растерзать его в клочки, если бы только войска не сдерживали её свирепого натиска⁷².

Герцога, почти потерявшего сознание, втолкнули живой рукой в дормез⁷³, запряжённый придворными лошадьми. На козлах дормеза сидел, вместо кучера, полицейский солдат, а рядом с ним лакей в придворной ливрее; экипаж был окружён отрядом гвардейских солдат с примкнутыми к ружьям штыками. В отдельном, переднем сиденье дормеза помещались доктор и два гвардейских офицера, каждый из них с двумя заряженными пистолетами. По знаку,

⁷² Об отправке Бирона рассказывает маркиз де ла Шетарди. (Примечание автора).

⁷³ Дормез – дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

данному одним из адъютантов Миниха, распорядившись отправкой арестанта-герцога, поезд тихо двинулся.

В эту минуту герцог нечаянно поднял глаза и увидел в окне дворца бледное лицо Анны Леопольдовны. При виде своего пленника правительница вздрогнула, она хотела сказать что-то окружавшим её, но голос у неё замер, и она, закрыв лицо, заплакала навзрыд. Стоявший у окна, около Анны, её супруг смотрел на всё происходившее с каким-то торжественно-напыщенным видом, но в душе ему как будто не верилось, что в отъезжавшем от дворца экипаже мог сидеть тот самый человек, которого он за несколько часов так смертельно трусил, и принц с почтительным изумлением взглядывал на молодую женщину, отомстившую регенту обиды и свои, и нанесённые им её ничтожному супругу.

После герцога, также в дормезе, был вывезен его брат, генерал Бирон, а за ним в простых санях был отправлен Бестужев. Сильный конвой сопровождал и того, и другого.

Наступали ранние сумерки ясного морозного ноябрьского дня. На небе горела вечерняя заря, обливая розовым светом и здания, и толпившийся на площади народ. Ярко-пурпуровым блеском отражался закат солнца в окнах домов, и всё это придавало Петербургу весёлый праздничный вид, соответствовавший тому настроению, в котором находились теперь жители столицы; с шумным говором потянулся, наконец, народ за войсками, двинутыми с площади, по окончании всех главных распоряжений, и вскоре всё вступило в колею обычной жизни для тех, кто не участвовал в перевороте; совершенно иное испытывали теперь те, на ком он отразился прямо или косвенно.

XVIII

Тотчас после доклада Миниха Анне Леопольдовне об аресте регента она послала известить об этом графа Остермана как главного и необходимого дельца в такую затруднительную минуту, приглашая его немедленно приехать в Зимний дворец. Услышав совершенно неожиданную весть о падении герцога, осторожный до крайности министр не поверил возможности такого важного события. Он полагал, что, вероятно, между регентом и принцессой произошли только какие-нибудь замешательства и столкновения, впутываться в которые было бы слишком опасно, и что известие о захвате регента основано на каких-нибудь неверных, преувеличенных или преждевременных слухах, или же, наконец, оно сообщено ему нарочно для того, чтобы заставить его принять участие в неокончившейся ещё борьбе принцессы с герцогом. Как бы то, впрочем, ни было, но, ссылаясь на свою тяжкую болезнь, Остерман приказал посланному принцессы доложить её высочеству, что он, к крайнему своему прискорбию, не имеет решительно никакой возможности исполнить её приказание. С таким ответом возвратился посланный в Зимний дворец, куда уже успели собраться все вельможи. Не видя среди них Остермана и узнав о его обычной отговорке, Миних тотчас же смекнул, в чём дело, и попросил камергера Стрешнева, шурина Остермана, отправиться к кабинет-министру.

– Я знаю настоящую причину, почему граф Остерман не явился во дворец, – сказал фельдмаршал Стрешневу, – он думает, что не вышло ли относительно ареста бывшего регента каких-нибудь недоразумений, он чересчур осторожен; но вы очевидец всего, что теперь происходит, поезжайте к графу и удостоверьте его лично, что герцог действительно арестован. Я вполне убеждён, что тогда Андрей Иванович сделает над собой некоторое усилие и тотчас же приедет сюда.

Стрешнев принял на себя это поручение, и оказалось, что Миних не ошибся в своём предположении. Убедившись вполне в том, что регент лишился власти, что он схвачен и сидит под караулом и что правление государством перешло в руки Анны Леопольдовны, хитрый старик не замедлил приехать во дворец и представился правительнице, преподнося ей красноречивые и льстивые поздравления, а также пожелания всевозможных благ. Анна Леопольдовна милостиво подшутила над его излишней робостью и неуместной осторожностью, назначив ему быть в тот же вечер у неё с докладом.

У успокоившегося теперь Остермана не только нашлись силы для исполнения служебных обязанностей, но он даже, к общему удивлению, объявил, что на днях, по случаю совершившихся радостных для всего «российского отечества» событий, даст у себя большой бал, удостоить который своим присутствием соизволила обещать государыня-правительница.

В назначенный час Остерман явился с докладом к Анне Леопольдовне. После разговора обо всём случившемся Остерман представил правительнице свои соображения относительно настоящего положения политических дел, а затем предложил её вниманию сообщение о тех бумагах, которые без её ведома были подписаны регентом и отправлены по назначению из коллегии иностранных дел.

– В числе таких бумаг, – сказал совершенно равнодушным голосом министр – была депеша к дрезденскому двору с просьбой назначить к нам польско-саксонским посланником графа Линара...

– Графа Линара?.. – с изумлением спросила правительница. – К чему же это? – добавила она, силясь преодолеть охватившее её при этой новости волнение и стараясь казаться совершенно спокойной. Но выражение её лица и замешательство тотчас выдали Остерману её сердечную тайну, и от его пронизательности не укрылось то потрясающее действие, какое произвело на правительницу сообщение о предстоящем приезде в Петербург Линара.

– Регент находил, – продолжал Остерман тем же тоном, – что приглашение в Петербург такого посланника, как граф Линар, могло бы в значительной степени облегчить сношения наши с венским двором, а вместе с тем и противодействовать расчётам берлинского кабинета.

Правительница, пересиливая своё смущение, закусила нижнюю губку и, наморщив брови, хотела придать своему лицу самое серьёзное выражение, которое соответствовало бы важности представляемого ей доклада по дипломатической части. Она сделала вид, будто чрезвычайно внимательно слушает объяснения министра, а между тем сердце её сильно билось, дыхание замирало, и даже не такому тонкому наблюдателю, каким был Остерман, нетрудно было подметить притворное равнодушие правительницы. Не зная вовсе тех коварных замыслов, которые, по наущению самого же Остермана, были у регента при вызове в Петербург Линара, Анна подумала, что регент хотел только неожиданно угодить ей этим, и ей вдруг стало жаль герцога при этой мысли; он не показался уже ей непримиримым врагом, и чувство благодарности со стороны страстно влюблённой женщины брало в ней теперь верх над холодной суровостью правительницы.

– Нет, я не желаю, чтобы граф Линар явился при моём дворе, – проговорила она, придавая своему голосу оттенок негодования, а между тем сама думала вовсе не то. – Ты, Андрей Иваныч, – добавила она, – был слишком близок к регенту...

– Сего вообще никак не можно сказать, ваше императорское высочество, – поспешил возразить оторопевший Остерман, – я был близок с регентом токмо по государственным, а не по личным делам: мне, вашему всепокорнейшему слуге, необходимо было весьма часто трактовать о политике и нуждах империи с герцогом и согласовываться с его видами, как главного правителя «российского отечества», поставленного в оную должность волей в бозе почивающей государыни.

– Успокойся, Андрей Иваныч, – улыбаясь и кротко сказала правительница, – я говорю тебе это не с тем, чтобы обвинять тебя за близость к регенту, я хочу сказать тебе совсем другое, чего ты, быть может, и не ожидаешь; я стану говорить с тобой от чистого сердца, только и ты скажи мне сущую правду, как мой истинный доброжелатель...

Услышав эти милостивые слова, Остерман заметно приободрился.

– Ты был близкий человек к герцогу, а потому, разумеется, он не скрывал от тебя того распоряжения, какое, по его старанию, сделала покойная моя тётка относительно графа Линара. Притом, кроме тебя, некому было писать в Дрезден депешу по этому делу...

– Во исполнение сего состояла моя обязанность, – подхватил смутившийся опять несколько министр, – но смею уверить ваше императорское высочество, что в депеше сей не было ничего, касавшегося высочайшей вашей особы.

– Конечно! Но тем не менее ты, Андрей Иваныч, очень хорошо должен был знать истинную причину, почему была написана эта бумага, да и сама покойная государыня из моей девичьей глупости никакой тайны не делала. Помнишь, какой тогда переполох и шум поднялись во дворце, пошли спросы, расспросы и передопросы, даже последних дворцовых служителей и служительниц, и тех в покое не оставили; о чём только их не расспрашивали, а иных и в тайную канцелярию для сыску отправляли, а ты, Андрей Иваныч, знаешь, что у людей язык куда как долог. Заговорил один, а за ним и другие принялись болтать во все стороны. Не только все при дворе, но и целый город, я думаю, знал, за что выслали Линара; Юлиана передавала мне все тогдашние толки, и много я за мою шалость разного горя натерпелась. Обо всём этом не забыли ещё и, следовательно... – добавила Анна, смотря пристально на Остермана.

В то время когда она сетовала таким образом на своё прошлое, в воображении её мелькнули, однако, отрадные, пленительные воспоминания, и даже тот страх, который испытывала она когда-то при тайных сношениях с Линаром, обращался теперь в какое-то приятно раздражающее её чувство.

– Вероятно, вашему высочеству благоугодно будет сказать, что посему приезд в Петербург графа Линара произведёт прежние вздорные толки?.. – заметил Остерман.

– Да... Распорядись лучше, Андрей Иваныч, отправить в Дрезден другую депешу... Напиши в ней, что мы передумали и что граф Линар нам вовсе не нужен... Обойдёмся и без него... – Последние слова правительница проговорила с заметным усилием, неровным голосом.

Анна и Остерман хитрили теперь друг перед другом, но меньше их в этом случае было далеко не одинаково. И он, и она желали, хотя и по разным побуждениям, чтобы Линар был в Петербурге, но не хотели или, вернее сказать, не могли откровенно высказаться об этом между собой. Остерман, предвидевший теперь возможность вступить в отношении к Линару в роль бывшего регента, боялся, как бы под влиянием опасений, высказываемых правительницей, не потерять подготовленной им для себя около неё поддержки. Ему было ясно, что после трёх-летней разлуки Анне хотелось свидеться с Морицем и что она только из стыдливости и сдержанности противоречила осуществлению этого предположения. Слишком опытный в интригах и происках Остерман домогался того, чтобы в настоящем деле последнее решительное слово принадлежало самой правительнице с тем, что если бы впоследствии из приезда Линара вышло что-нибудь для неё неприятное, то он мог бы сослаться на собственную её волю. Делая вид, что он нежелание Анны Леопольдовны видеть Линара считает искренним, Остерман посредством такого притворства нашёл возможность поставить молодую женщину в самое затруднительное положение.

– Повеление вашего высочества сегодня же мной будет исполнено, – покорно сказал Остерман, сиясь привстать с кресла. – По возвращении домой я безотлагательно заготовлю соответственную сему делу депешу для отправки её с нарочным посланцем в Дрезден...

Проговорив это, хитрый старик как будто принялся рыться в бумагах, расположенных перед ним на столе, а сам между тем украдкой, исподлобья, следил внимательно за Анной, которая, увидев безотговорочность Остермана, не знала, как далее повести дело к тому исходу, который был ей так желателен.

Наступило молчание. Облокотясь на стол и закрыв лицо рукой, задумчиво сидела правительница. Остерман продолжал спокойно рыться в бумагах, подготавливая их к дальнейшему докладу, и, как будто считая вопрос о Линаре совершенно поконченным, он отложил в сторону относившуюся к нему бумагу.

Анна увидела это и не выдержала.

– Но как же это сделать?.. – с живостью спросила она.

– Что сделать, ваше высочество?.. – проговорил Остерман, подняв глаза на правительницу и делая вид, что он не догадывается, о чём она спрашивает его.

– Чтобы отклонить приезд Линара... Ведь дрезденский кабинет... – нерешительно промолвила правительница.

– Учинить сие несколько трудновато, – начал глубокомысленно Остерман официальным слогом того времени, – чаять надлежит, что пущенная из Санкт-Петербурга в Дрезден депеша или уже прибыла туда, или имеет прибыть не сегодня, так завтра. Посему дрезденский двор и мог уже с своей стороны распорядиться о поступлении в сходствие с оной. Засим, по получении новой депешы, входящей в противоречие с прежней, дрезденский кабинет не токмо обижен быть может, увидев от нас столь мало к себе аттенции, но и может таковое изменение к легкомыслию и импертиненции нашего двора отнести и в силу оногo восчувствовать против нас огорчение и признать сие действие досадительным для себя с нашей стороны поступком...

– Я не смыслю ничего в вашей политике, – перебила принцесса, обрадованная, однако, в душе, что дело идёт на лад, и не просто по её только желаниям, а по причинам весьма уважительным – по дипломатическим соображениям тонкого министра.

– Как ознакомитесь, ваше высочество, с сими делами, – сказал, тяжело вздохнув, Остерман, – тогда соизволите увидеть, какие при оных делах встречаются конъюнктуры и инфлюенции... Бывают случаи, – продолжал поучительным голосом министр, – когда высочайшие особы, презрев свои персональные амбиции и онёры, должны поступить в жертву и те и другие наиважнейшим резонам...

– Следовательно, и я должна?.. – как будто с радостью спохватилась правительница.

– Сие зависеть будет от всемилостивейшего вашего благоусмотрения. Могу токмо сказать, что, несомненно, российское отечество ожидает от матери своей всего на пользу его имеющего быть содеянным...

– Но что ж теперь делать? – пылливо спросила Анна.

– По мнению всенижайшего вашего слуги, надлежит учинённое пред сим в отношении графа Линара оставить в прежней силе, – заметил министр.

– Но когда приедет сюда Линар, тогда?.. – В этом вопросе правительницы слышались и робость, и нерешительность, и Остерман со своей стороны нашёл нужным пересилить их.

– Так что же, ваше высочество? Всем будет известно, что не вы изволили его вызвать, а регент, который, как сие все очень хорошо ведают, не токмо никогда не думал о чем-нибудь угодном особе вашей, но, наоборот, поступал в совершенную противность оному, учиняя вам огорчения и досадительства. В таком смысле относительно приезда сюда послом графа Линара можно будет даже составить не токмо дипломатическую, но и газетную декларацию, и тогда все поймут, что вы, ваше высочество, пребываете здесь ни при чём, и что вам так надлежало поступить по необходимости, из одного токмо учтивства перед дружественным иностранным двором, как требуют сего народные права.

Анна Леопольдовна призадумалась, а Остерман, пользуясь её колебанием, решился покончить все дело одним, самым верным, по его мнению, ударом.

– Осмеливаюсь, впрочем, – начал он тихим, несмелым голосом, – представить вашему императорскому высочеству единственное, несколько затрудняющее настоящий казус обстоятельство... Всё нужно принять при сём в соображение, и потому позвольте дерзновенно, с уничижением, приличествующим всенижайшему вашему слуге, спросить: быть может, его император...

– Принц?.. – гневно вскрикнула Анна Леопольдовна, вскочив с кресла, и на бледном лице её выступили красные пятна. – Никому нет дела до моих к нему отношений!.. Я могу поступать как хочу!.. Я спрашиваю у министров только советов, а не наставлений!..

Остерман растерялся, но в то же время увидел, что дело его выиграно окончательно, что он задел в Анне самую чувствительную струну.

– Дерзнул я изречь сие, – забормотал он, – не в видах поучительных, но токмо...

– О принце говорить теперь нечего, – не без запальчивости перебила она, оскорблённая в особенности тем, что Остерман как будто забыл или не хотел знать событий минувшей ночи, когда Анна оказала такую решительность и такую смелость в противоположность бездействию и трусости своего мужа.

Но взрыв негодования быстро прошёл у неё. Сделав в сильном волнении лишь несколько шагов по комнате, она, молча, остановилась перед Остерманом, выжидая, что он ещё скажет.

– Как же благоугодно будет приказать вашему высочеству поступить в отношении графа Линара?.. – спросил робко Остерман.

– Я желаю, чтобы граф Линар был в Петербурге, – твёрдым голосом и с повелительным видом сказала правительница.

Остерман почтительно склонился перед ней, а молодая женщина вовсе не предчувствовала, что с этими словами она делала первый шаг к своей гибели.

XIX

Никаких торжеств и празднеств не происходило ни при дворе, ни в Петербурге вообще по случаю принятия правления Анной Леопольдовной, несмотря на радость всего населения. Причиной этому было то, что тело императрицы Анны Ивановны оставалось ещё непогребённым. Оно стояло в Летнем дворце, откуда только в последних числах ноября было перевезено с необыкновенной пышностью в Петропавловский собор. По этому случаю собору была придана такая же полуязыческая обстановка, какой – как мы уже знаем – отличалась та дворцовая зала, где стоял прежде гроб Анны Ивановны. В фонарике, венчавшем купол соборной церкви, было, по словам современного описания, «сделано облако, из которого исходил луч славы», осенявший золотой надгробный балдахин. У катафалка, на котором был поставлен гроб, стояли четыре женские статуи. На стенах церкви были развешаны медальоны, надписи, мёртвые головы, гербы провинций и фестоны из чёрного крепа, на которых, как и на чёрных занавесах, бывших у окон и у дверей, блестели «слёзные капли». На главном карнизе церкви были поставлены лампы, урны и, вдобавок к ним, «по римскому и греческому обычаю, горшки со слезами». Вдоль церкви было расставлено восемь статуй. Они изображали теперь не добродетели почившей государыни, как это было в дворцовой зале, но добродетели её верноподданных, удручённых тяжкой скорбью. Из статуй одна представляла «жену», которая держала левой рукой на груди младенца а правой вела смотрящего на неё отрока. «При ногах этой жены была насадка, покрывающая крыльями цыплят». По толкованию учёных устроителей такой затейливой обстановки, статуя эта в общей своей совокупности должна была знаменовать «искреннюю любовь верноподданных». Другая статуя, находившаяся прямо против царских врат, изображала «жену, у которой на челе, вместо повязки из драгоценных камней, было сердце, а при ногах её молодой журавль принимал старого и бессильного на свои крылья». Статуя эта означала «непритворную верность» россиян к скончавшейся государыне. Во всё это время двор не снимал глубокого траура. Дамы ходили в чёрных байковых робах с широкими белыми плерезами, в больших чепцах с длинными позади них вуалями из чёрного флёра. Мужчины носили чёрные суконные кафтаны, и лишь в то утро, когда происходило поздравление правительницы с принятием власти, все явились во дворец в цветной парадной одежде. У знатных особ приёменные комнаты и экипажи были обтянуты чёрным сукном. Лишь за несколько дней перед 18-м числом декабря, в которое приходилось рождение Анны Леопольдовны – ей минуло теперь двадцать три года, – происходило погребение покойной императрицы с величавой торжественностью. Гроб опустили в могилу; со стен Петропавловской крепости загрохотали прощальные пушечные выстрелы; рассеялся их белый дым, а вместе с ним исчезли и все видимые следы десятилетнего сурового царствования Анны Ивановны. Власть её любимца пала, и начались новые правительственные порядки...

Вечером в день рождения правительницы Петербург, говоря напыщенным слогом, пылал увеселительными огнями. В ту пору столичные иллюминации были предметом самой тщательной заботы; в устройстве их принимали самое деятельное участие и художники, и учёные, и пииты, и полиция. Первые составляли на эти случаи рисунки, транспаранты и эмблемы; вторые сочиняли на разных языках – преимущественно на латинском – велеречивые надписи, льстивые изречения, а также и замысловатые аллегории; третьи сплетали вирши и акростиhi, входившие в состав иллюминационных украшений. Наконец, со своей стороны полиция, не вдававшаяся ни в художества, ни в поэзию, просто понуждала жителей столицы зажигать плошки, шкалики и свечи. Такие распоряжения не прикрывались никакими деликатными внушениями, а предъявлялись прямо, как обязательные требования, и о них, при описании бывших в Петербурге иллюминаций, упоминалось в похвалу полиции, по приказанию которой нельзя было, например, поставить в одном окне менее десяти свечей в виде пирамиды.

Впрочем, и без понуждений со стороны полиции каждый по-своему готов был выразить правительнице и любовь, и преданность; у всех на душе стало легче; касалось, что висевшая над народом чёрная туча умчалась куда-то в безвестную даль. Правительница оказывала облегчения народу, расположение к вельможам, внимание к войску. Чувствовалось, что в противоположность прошлому начинала править царством кроткая женщина с добрым сострадательным сердцем. Она или отменяла вовсе, или смягчала прежние жестокие приговоры, приказывала выпускать на свободу засажённых при регенте в тайную канцелярию, подписывала указы о возвращении ссыльных и конфискованных имуществ и изливала особые милости на тех, кто пострадал за неё. При представлении их ей правительница со слезами на глазах скорбела об их страданиях и благодарила их за «пролитую кровь». Им были пожалованы чины и денежные награды, честь их была восстановлена, в ознаменование чего их, перед поставленными в строй полками, прикрывали знамёнами.

Трудно было, однако, правительнице улаживать все интриги и происки, которые безустанно кишели около неё. Остерман с первого же свидания сблизился с Анной по щекотливому вопросу о вызове графа Линара в Петербург. Хотя правительнице то казалось, что министр не разгадал её притворства, то думалось ей, что хитрый старик проник в её сердечную тайну, но как в том, так и в другом случае она останавливалась на мысли, что Остерман ей не только будет постоянно необходим по делам государственным, но что, кроме того, он пригодится ей при сношениях с Линаром, с которым он, вероятно, успеет близко сойтись, так что она и тут будет иметь в Остермане ловкого посредника и надёжного советника. Между тем Остерман, не терпевший никогда никакого совместительства в главном управлении государственными делами, оказывался теперь лицом, не имевшим уже прежней силы, так как не только по званию, но и в действительности первым министром стал граф Миних, захвативший в свои сильные руки все отрасли государственного управления. Остерман, смотря на это, злился, терзался и считал себя обиженным на весь мир человеком. Он теперь только и думал о том, чтобы посредством падения фельдмаршала расчистить себе дорогу к власти и выйти поскорее из настоящего приниженного положения. Со своей же стороны, Миних не только знал хорошо цену своих прежних военных заслуг, но и цену своих недавних ночных подвигов в пользу Анны. Рассказывая в обществе о тех опасностях и о тех затруднениях, какие ему при этом приходилось преодолеть, он не стеснялся несколько добавлять, что лишь одному ему правительница обязана своей властью. Теперь оба соперника при встречах искоса посматривали друг на друга, ожидая, кому кого удастся сломить. Ломка же эта зависела от того, чью сторону будет держать Анна, – Миниха ли, исполнившего уже своё дело, или Остермана, который может пригодиться ей в будущем?

Другим заклятым врагом Миниха был принц Антон. Уступив ему звание генералиссимуса, Миних не думал, однако, уступать ему ни малейшей власти, даже по военному управлению. В сношениях своих с генералиссимусом фельдмаршал не соблюдал никакого порядка подчинённости, и не только что относился к принцу, как равный к равному, но даже на каждом шагу безжалостно подавлял супруга правительницы своей надменностью и своим презрением. Остерман, пользуясь таким обхождением Миниха с принцем, подбивал последнего против первого и со своей стороны в удобную минуту закидывал правительнице словцо о том, что такое обращение, какое позволяет себе фельдмаршал с принцем, роняет в глазах всех не столько достоинство самого принца, сколько достоинство его супруги-правительницы. Остерман внушал Анне Леопольдовне, что почётное, исключительное положение принца необходимо для неё самой и что такое положение ни малейшим образом не лишит её первенствующего значения в государстве и не отнимет у неё прав на личную свободу и полную независимость, льстиво прибавляя при этом, что её высочество показала уже такое превосходство над своим супругом, что между ним и ею не может быть даже допущено никакого сравнения. Вкрадчивый хитрец после распоряжения самой правительницы о вызове Линара не упускал теперь случая загово-

речь с нею о нём и, превознося до небес необыкновенные его качества, весьма тонко намекнул, что Линар, как человек, не причастный ни к каким искательствам русских вельмож, – по образованности, уму, силе характера, опытности и почтительной преданности Анне Леопольдовне, – может быть для неё во многих случаях беспристрастным и надёжным советником. Остерман, предвидя, что, быть может, ему самому не удастся сладить с Минихом, сильно рассчитывал на содействие и на влияние Линара в этом случае. Касаясь Линара, он затрагивал самые сокровенные чувства молодой женщины, он упоминал также и о великодушии Анны, пожертвовавшей при вызове Линара государственной пользе «амбициею и онёрами», и правительнице казалось, что доброжелательный к ней старик понимал её, сочувствовал ей, а такому человеку нельзя было не довериться, нельзя было не полагаться на него. Угодливость, лесть и, главное, подщёптывания о том, чему верилось правительнице и чего ей желалось с таким нетерпением, не остались без влияния на восприимчивую женщину, терявшуюся теперь в водовороте государственных дел и политических вопросов и мечтавшую о давно желанном, а теперь уже близком свидании с любимым человеком.

В свою очередь, и оскорблённый принц старался вредить Миниху как только умел и как только мог. Он подкупал против него доносчиков, нанимал шпионов, которые всегда и всюду следили за ним, переносил жене неблагоприятные для фельдмаршала слухи, касавшиеся, между прочим, и его подозрительных сношений с цесаревной Елизаветой. Принц часто посещал Остермана, чтобы сетовать перед ним на сатанинскую гордость зазнавшегося Миниха. Ездил он и на совещания к графу Головкину, ворчавшему против самовластия фельдмаршала. Порой он решался даже излить супруге-правительнице свои горькие жалобы на обижавшего его беспрестанно Миниха, высказывал при этом, что всю заслугу ночного переворота фельдмаршал приписывает исключительно себе, между тем как ему, принцу, очень хорошо известно, что Миних без неё не мог бы ровно ничего сделать. Не только к большому удовольствию принца, но и к крайнему его удивлению, Анна, вразумляемая Остерманом, с участием и снисходительностью выслушивала теперь жалобы мужа, но и не оставляла их без последствий. Назло Миниху она стала приглашать принца присутствовать при докладах первого министра; обращаясь при этом к своему мужу с вопросами, делая вид, что она нуждается в его советах, несмотря даже на решительные мнения, высказанные Минихом по тому или другому делу. Вместе с тем она в присутствии Миниха отдавала отчёт принцу о ходе государственных дел. По приказанию правительницы принц начал присутствовать и в сенате, и в военной коллегии, состоявшей под ближайшим ведением фельдмаршала. Нетрудно было понять Миниху, что в таком деятельном участии принца в делах государственных не представляется решительно никакой надобности и что всё это делается для того только, чтобы причинить ему, фельдмаршалу, самые чувствительные неприятности. Оскорблённый и раздражённый до последней крайности, Миних страшно кипятился, но вскоре, убедившись, что дело его проиграно, он стал проситься в отставку, рассчитывая, что правительница не отважится на такой шаг, равнозначный окончательному разрыву между нею и виновником её неожиданного возвышения.

В это время Елизавета однажды приехала навестить правительницу, которая спросила цесаревну, знает ли она что-нибудь об отставке фельдмаршала.

– Трудно было бы не знать того, о чём все говорят, – отвечала гостя.

Любопытство подстрекнуло правительницу разузнать, что же именно говорят? – и в таком смысле она задала вопрос Елизавете.

– Вообще все удивлены тем, – начала цесаревна, – что вы согласились на отставку фельдмаршала. Я же, со своей стороны, нежно любя вас, не могу не признаться, что вы поступили ошибочно, вас станут теперь обвинять в неблагодарности, да и, кроме того, вы лишились человека, на преданность которого вы могли полагаться после того, что он сделал уже для вас.

На лице Анны Леопольдовны выразилось заметное неудовольствие.

– Я очень сожалею, что должна решиться на это. Но что же мне было делать, когда мой муж и граф Остерман не давали мне покоя! Я вынуждена уступить их настояниям, – оправдывалась правительница.

Цесаревна улыбнулась и слегка пожала плечами, удивляясь, что Анна с такой искренностью высказывалась перед ней, и приняла это к сведению.

– Она совсем дурно воспитана, – заметила после этого разговора Елизавета в кругу близких друзей, – она не умеет жить в свете и, сверх того, у неё есть очень дурное качество – быть капризной, как капризен её отец, герцог Мекленбургский.

Усердные вестовщики не замедлили передать правительнице этот отзыв цесаревны, разумеется, с разными прибавлениями и толкованиями, и она, оскорблённая ими выжидала случая, чтобы отплатить чем-нибудь Елизавете.

XX

По-видимому, судьба улыбнулась теперь Анне Леопольдовне: из бедной немецкой принцессы, из девушки, которую стесняли на каждом шагу, она сделалась полновластной правительницей обширного государства и находилась в положении женщины, которая, если бы пожелала, имела возможность не чувствовать вовсе тяжести супружеских уз. И народ, и муж были теперь одинаково покорны. Никто не дерзал противоречить ей, никто не смел ограничивать её воли в распоряжениях по делам государственным и противодействовать желаниям, привычкам, прихотям и причудам в её частной жизни. Всё прошлое казалось ей теперь не пережитой действительностью, а каким-то обманчивым сновидением. В сознании принадлежавшей ей власти и настоящего величия Анна Леопольдовна недоумевала: отчего она могла некогда трепетать при одном только суровом взгляде тётки-императрицы и дрожать при внезапном появлении герцога-регента? Она как будто переродилась: начала верить в решительность и твёрдость своего характера и убеждалась в том, что была вполне права, когда сказала, что ей нужен только смелый руководитель, и тогда она отважится на всё. Супружество с «тихим и смирным» принцем, которое она считала прежде страшным для себя бедствием на всю жизнь, представлялось ей теперь самой удачной сделкой. Муж не только не мог быть ей в чём – нибудь помехой, но, напротив, был как нельзя более пригодным и вполне послушным орудием в её руках, и если Анна Леопольдовна ещё и прежде чувствовала к нему презрение, то теперь, после того как она, без всякого со стороны его участия, произвела такой неожиданный государственный переворот, смотрела на него, как на самую ничтожную личность. Принц мог жить только её милостями и иметь значение лишь по мере того внимания, какое ей вздумалось бы оказывать ему. Власть, независимость, несметное богатство делали в глазах всех правительницу счастливейшей женщиной в мире. Вдобавок ко всему этому присоединялась ещё и молодость: Анне Леопольдовне было всего двадцать три года – пора, когда жизнь представляется заманчивой бесконечной далью, полной светлых надежд и отрадных ожиданий. При настоящей блестящей обстановке Анне не доставало только титула более громкого, чем титул правительницы, но если бы она прельщалась им, то тотчас же после падения регента могла бы получить императорскую корону, но она тогда не хотела усилить этим блеск своего положения, да и теперь несколько не жалела о своём отказе.

В первое время своего правления Анна Леопольдовна, несмотря на её природный ум⁷⁴, забавлялась иногда своей властью, как забавляется ребёнок только что подаренной ему игрушкой с непонятным для него механизмом. Ей казалось странной та сила, которой она могла приводить в движение человеческие страсти, возвышая одних, и тем радуя их, и принижая других, и тем печала их. Хотя правительница и выросла при дворе императрицы Анны Ивановны, где всё это было явлением слишком обыкновенным, но не причастная до сих пор ни к каким государственным делам, отрешённая от искательств, интриг, подкопов и происков, она знала обо всём этом только по сбивчивым слухам, и ей были известны лишь мелочные придворные дела, а не широта и разнообразие державной власти. Кроме того, она – нелюдимка и даже дикарка по природе, прежде всего жалась в свой тихий уголок, старалась избегать непривычных ей лиц и чувствовала себя неловкой и робкой в пышном наряде среди многолюдных собраний, где так часто видела она и напускную весёлость, и поддельную любезность. Являясь туда в прежнее время, она уступала только настояниям государыни-тётки, любившей около себя и людность, и блеск, и великолепие, между тем как тишина, простота и непринуждённость были любимой обстановкой Анны. Будучи страстной охотницей до чтения, она почти всё время проводила

⁷⁴ О ней как об умной женщине отзывался английский резидент в Петербурге Финч и даже её недруг – король прусский Фридрих Великий. (Примечание автора).

за книгами, от которых её отвлекали только беседы с бойкой и весёлой Юлианой⁷⁵. Тогдашнее романтическое направление литературы французской и немецкой, с которыми она была вполне знакома, развили в ней ещё более врождённую мечтательность, и ей грезились идеалы, созданные пылким воображением писателей, – идеалы, не встречаемые в жизни. Только в одном графе Линаре молодая мечтательница заметила что-то особенное, выходящее из обычного уровня, и потому на нём сосредоточивались её заветные думы, в нём виделся ей поэтический облик героев, знакомых ей из прочитанных романов и драм, – облик, выдававшийся ещё резче при сопоставлении его с личностью своего слишком прозаического и тупого сожителя. Ей хотелось, чтобы Линар был близок к ней, чтобы она имела в нём не только приятного участника откровенных бесед, но и надёжного друга. Анна Леопольдовна не была пылкой, огненной женщиной и не могла принадлежать к числу тех прославленных Мессалин⁷⁶, у которых так легко спадал с плеч к ногам царственный пурпур перед избранниками их мимолётных прихотей, зато она способна была сильно и искренне полюбить того, кто, как ей казалось, олицетворял её мечты. Вдобавок к этому у неё не было ни твёрдости воли, ни чуткой осмотрительности, и она, предавшись своему избраннику, готова была променять на любовь и власть, и корону, не имевшие для неё особой прелести.

Почувствовав теперь возможность жить и действовать, как ей самой хотелось, а не так, как заставили её прежде другие, она переносила свои желания на тихую, уединённую жизнь в небольшом, кружке близких ей людей, где Линар, конечно, был бы самым желанным гостем. Жажда власти и славы, которая обыкновенно томит и мучит людей, поставленных на общественные вершины, не была вовсе господствующей страстью правительницы, у неё были только случайные порывы этой страсти под теми впечатлениями, которые приходилось испытывать ей от постороннего влияния. Равнодушие и беспечность были слишком заметными свойствами её практической жизни. По характеру, по своим взглядам на жизнь Анна была гораздо способнее плыть по тихому, ровному течению, нежели вести борьбу с непогодами и бурями, и только случайные обстоятельства могли придать ей решительность и твёрдость.

Вызванная, с одной стороны, оскорбительными поступками герцога Курляндского, а с другой – увлекаемая красноречивыми подстрекательствами Миниха, Анна отважилась на борьбу со своим могущественным притеснителем, но и в этом случае сильнее действовало в ней чувство самосохранения, а не желание почестей и власти. Одолев своего противника, Анна как будто остановилась на распутье, в ожидании проводника, который повёл бы её по верной дороге. Сама же она чувствовала себя неспособной сделать дальнейший шаг, от этого её удерживали и робость, и неумелость. Проводником правительницы по незнакомому ей пути явился Остерман, успевший скоро подчинить её своему неотразимому влиянию. Каждое его внушение, каждое его слово были хладнокровно обдуманном и заранее рассчитанным шагом для достижения своей цели, а целью оскорблённого министра было ниспровержение своего противника Миниха.

Когда Елизавета – или в припадке искренности, или по особым своим соображениям, разгадать которые трудно, – с таким, по-видимому, чистосердечием говорила о том неблагоприятном для правительницы впечатлении, какое должна будет произвести отставка Миниха, то при посредничестве разумных и ловких людей можно было ещё кое-как поправить взаимные недружелюбные отношения между правительницей и фельдмаршалом. Но Остерман, узнав об этом, пошёл решительно наперерез всякой миролюбивой сделке между Минихом и Анной Леопольдовной. Он тотчас же воспользовался заступничеством цесаревны за фельдмаршала, чтобы окончательно убедить её в той опасности, которую следует ожидать, если звание пер-

⁷⁵ О любви Анны к чтению и её начитанности упоминает в своих «Записках» Миних-сын. (Примечание автора).

⁷⁶ То есть подобные Валерии Мессалине, жене римского императора Клавдия, отличавшейся своей жестокостью и развращённостью.

вого министра, а следовательно, и все нити власти останутся за смелым Минихом. Он выставил его как сторонника Елизаветы, внушал правительнице, что Миних если и не отважится сделать переворот в пользу цесаревны, то, во всяком случае, непременно оплатит правительнице самой чёрной неблагодарностью. Остерман отзывался о Минихе как о коварном, никого не щадящем честолюбце, и в напуганном воображении правительницы фельдмаршал представился другим Бироном, готовым прижать всё и подавить всех своей железной рукой.

Остерман до такой степени успел вселить предубеждение в правительнице против Миниха, что она при многих лицах, когда зашла речь о фельдмаршале, высказалась: «Я могла воспользоваться плодами его измены, но не могу уважать изменника».

Независимо от нащёптываний Остермана и другие обстоятельства слагались не в пользу Миниха. Засаженный им в Шлиссельбургскую крепость падший регент в своих показаниях писал: «Фельдмаршала за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времён себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россией недовольна, а французские интриги распространяются и до всех концов света... Его фамилия впервые сказывала мне о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа-фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и притом десперат и весьма интересоват».

Наконец сам фельдмаршал наводил правительницу на мысль, что он как будто хочет, устранив её от участия в государственных делах, захватить всю власть в свои руки, убеждая правительницу, не заботясь ни о чём лично, доверить ему управление государством⁷⁷.

При таком положении дел явился в Петербург граф Линар.

⁷⁷ Об этом упоминает сам Миних в своих «Записках». (Примечание автора).

XXI

– Вспомнили ли вы хоть раз обо мне в течение нашей долгой разлуки? – спросил вкрадчиво Линар Анну Леопольдовну по окончании дипломатической конференции, на которую он, тотчас же после своего приезда и официального представления правительнице, был приглашён ею, и которая, по важности вопроса, должна была происходить только между ними без присутствия других лиц.

Анна Леопольдовна, потупив свои задумчивые глаза, не отвечала ни слова на этот смелый вопрос. Линар тоже приумолк, как будто настоятельно выжидая ответа.

– А вы, граф, что делали в это время? – равнодушно спросила она, не взглянув даже на своего собеседника.

– Что делал я? – переспросил Линар. – Я беспрестанно путешествовал, не отрывался от книг, иногда кидался в шумное, волнующееся, как море, общество, иногда, наоборот, искал спокойствия и совершенного уединения; мрачные пропасти, тёмные леса, неприступные горы и тихие долины манили меня к себе, на меня навевали отраду и журчание ручья, и щебетание пташки... Я бегал от удовольствий света, я скрывался от людей⁷⁸.

– Зачем же вы это делали?.. – перебила Анна.

– Я делал это в силу невольного влечения, – заговорил он страстным и трогательным голосом, – и мне кажется, я делал только то, что обыкновенно делает человек, разлучённый непреодолимой силой судьбы с предметом своего беспредельного обожания...

Линар томными глазами взглянул на Анну Леопольдовну, которая рассеянно слушала его, так что казалось, будто она обратилась к нему с вопросом о нём самом только из пустого приличия, не ожидая от него вовсе каких-нибудь нежных объяснений.

– Я, – продолжал с расстроенным видом Линар, – силился, но, увы! – силился напрасно, – изгладить из моего сердца воспоминания о тех немногих, счастливых для меня днях... Что я говорю о тех днях, о тех часах... Нет! даже и не о тех часах, а только о тех блаженных мгновениях, которые, думалось мне, более не возвратятся... Я полагал, что моё мимолётное счастье никогда не повторится. Я считал всё потерянным навеки и жил не настоящим, а только... прошедшим.

В этом последнем слове Линара, произнесённом с расстановкой и с особой выразительностью, ясно слышался намёк, касавшийся его прежних отношений к Анне.

– Каким прошедшим? – несколько сурово спросила правительница, медленно поднимая испытывающий взгляд на Линара.

– Неужели вам нужно доказывать это?.. – с горячностью и как будто с изумлением проговорил Линар.

– Не упоминайте о прошедшем, граф, – строго сказала Анна, – я была тогда глупой и ветреной девочкой, а вы имеете дерзость пользоваться этим теперь...

С этими словами, встав с кресла и слегка кивнув головой Линару на прощанье, она сделала шаг вперёд.

Линар смело заслонила ей дорогу. Анна попятилась назад и гордым взглядом смерила бойкого волокиту.

– Простите меня, ваше императорское высочество, – заговорил он, почтительно склонившись перед правительницей, – простите меня за то, что я дерзнул напомнить вам о прошедшем... Действительно, – добавил он с лёгким оттенком укора, – между тем, что было тогда, и

⁷⁸ Разговорам между Анною и Линаром автор считал нужным придать оттенок книжного слога, так как в ту пору книжных выражений придерживались лица образованные и начитанные, а к числу первых принадлежал Линар, к числу же последних – Анна.

тем, что теперь, – какая беспредельная разница!.. Теперь вы повелительница миллионов покорного перед вами народа; теперь вы одним вашим словом, одним росчерком пера, одним движением вашей руки можете влиять на судьбу царств. Теперь первые венценосцы в мире заискивают вашего благосклонного внимания. Теперь вы не безызвестная, как тогда, принцесса, – теперь вы полновластная правительница обширного и сильного государства... Вас окружает царственное величие, вас озаряет своими яркими лучами слава... О вас говорит теперь весь мир, все удивляются вашему мужеству, вашему уму и необыкновенной твёрдости характера. История впишет имя правительницы Анны на свои страницы, как имя прославившейся женщины, поэты воспоют её... А я, безумец, среди всего этого ослепляющего блеска, среди окружающей вас славы вдруг осмелился заговорить с вами о том, что теперь должно быть забыто навеки. Простите меня, но я не мог не высказать вам того, что лежало у меня на сердце, что составляет святыню моих воспоминаний, тогда как эти воспоминания для вашего императорского высочества...

Линар остановился, как будто не желая досказать свою мысль. Правительница, не говоря ни слова, в глубоком раздумье вернулась на прежнее место, пригласив Линара рукою сесть возле неё. Несмотря на всю любовь к Линару, Анна, робкая от природы, была смущена тем оборотом, какой так неожиданно принял начатый с ним разговор. Она была несколько раздражена и той вольностью, какую позволил себе Линар в обращении с нею. Вдобавок к этому не только скромность, но и простая сдержанность заставили её дать Линару почувствовать, что он в своих объяснениях заходит с первого раза слишком далеко, напоминая ей, замужней женщине, её прежние легкомысленные поступки. Но Линар знал, что женщины очень скоро и очень охотно прощают всё это и что смелость в обращении с ними служит одним из верных ручательств за успех. Линар не ошибся; не только неудовольствие Анны Леопольдовны против него скоро прошло, но даже ей сделалось жаль, что она так сурово отнеслась к Линару, и ей стало досадно, зачем она не позволила ему продолжать начатые им восторженные объяснения. Теперь ей так захотелось послушать их. Кроме того, укор, слышавшийся в его голосе, а вместе с тем и его торжественно-хвалебная речь Анне, как правительнице, подействовали на молодую женщину, всегда быстро переходившую от одного чувства к другому под влиянием получаемых ею впечатлений.

– Вы жестоко ошибаетесь, – с заметным смущением начала Анна Леопольдовна, – полагая, что величие и слава могли изменить меня... Действительно, мне удалось сделать то, чего от меня вовсе не ожидали, и этим я показала, как обманывались те, которые считали меня способной на то только, чтобы продолжать потомство светлейшего Брауншвейгского дома...⁷⁹ По воле Божьей я вознесена теперь высоко, и только во имя моего нынешнего, тяжёлого для меня сана я должна требовать от всех и от каждого, – кто бы он ни был, – особого почёта, не желая его вовсе для себя лично...

Линар встал с кресла и низко поклонился правительнице.

– Я вижу, какую страшную ошибку сделал я, – сказал он смиренным голосом, готовясь в то же время нанести решительный удар Анне. – Я виноват перед вами не только в том, что не почтил высокого вашего сана, но и в том, что легкомысленно позволил себе забыть разницу вашего положения и в другом ещё отношении: тогда как девушка вы были свободны, а теперь его императорское высочество ваш возлюбленный суп...

– Вы издеваетесь надо мною! – запальчиво вскрикнула Анна, не дав Линару договорить последних слов. – Как будто вы не знаете тех отношений, какие существуют между мной и принцем?.. Зачем вы вздумали обманывать меня!..

Отзыв самой Анны об её отношении к мужу был чрезвычайно важной заручкой для дальнейших действий Линара. Лицо его притворно приняло недоумевающее выражение, и он, поль-

⁷⁹ Подлинные слова Анны Леопольдовны. (Примечание автора).

зуюсь вспышкой молодой женщины, дал ей полную волю высказаться о своих супружеских отношениях.

– Вы были ещё и прежде посланником при здешнем дворе, и кому же, как не вам, лучше всего можно было знать о моём невольном браке с принцем?.. Мало того, вы и после отъезда вашего из Петербурга заботились о моей участи, – насмешливо добавила Анна. – Я очень хорошо знаю, что вы писали к бывшему герцогу Курляндскому письмо, в котором выставляли моего теперешнего мужа в самом дурном свете, надеясь этим воспрепятствовать моему браку...

– Я полагал... – проговорил Линар.

– Позвольте, я ещё не всё высказала. Вы говорили, что я тогда была свободна, а что же я теперь? Разве я раба или невольница моего мужа?.. Нет, я теперь ещё более свободна, чем была прежде... – с горячностью проговорила Анна.

Линару, как человеку опытному в волокитстве за женщинами, вполне достаточно было этих немногих слов: он понял, что принц Антон будет теперь ни при чём и что со стороны его он, Линар, не встретит никаких препятствий.

– Для меня сегодня вышел чрезвычайно неудачный день, – сказал он с улыбкой, придававшей особую привлекательность его красивому лицу. – Я говорю сегодня всё невпопад, и вот уже два раза я имел несчастье навлечь на себя крайне прискорбный для меня гнев вашего императорского высочества. Теперь мне остаётся только замолчать и, припав к стопам вашим, смиренно просить о великодушном прощении...

– Оставим эти нежные разговоры, – перебила Анна Леопольдовна, улыбнувшись в свою очередь и ласково взглянув на Линара. – Скажите мне, где вы провели большую часть времени в продолжение этих последних лет?

– В Италии, ваше высочество. Я чрезвычайно люблю эту страну, и притом она мне не чужая. Хотя я и считаюсь немцем, но ношу не немецкую фамилию, и во мне течёт ещё итальянская кровь. Менее чем сто лет тому назад Линары, вследствие политических смут, переселились из Италии в Германию, и я думаю, что я скорее итальянец, чем немец...

– А вот я так и не знаю, как мне считать себя: по отцу я немка, а по матери русская...

– Позвольте заметить вашему высочеству, что вы и по отцу не немка, а славянка. Вам, конечно, известно, что знаменитый Мекленбургский дом – единственная во всей Германии династия славянского происхождения и что немцы разрушили могущественное государство ваших славных предков, обратив его в маленькое княжество и заставив владетелей его променять их прежний громкий титул королей Вендских на скромный титул герцогов Мекленбургских. Для меня, – добавил шутливо Линар, – как для представителя его величества короля польского, эти исторические воспоминания имеют некоторое значение. Они позволяют мне надеяться, что повелительница одной из первенствующих отраслей славянского племени и сама славянка по происхождению примет охотнее сторону Польши и Австрии, державы скорее славянской, чем немецкой, нежели Пруссии – этой угнетательницы славян, издавна онемечивающей их на Балтийском поморье.

– Но мой первый министр, граф Миних, внушает мне совершенно иной образ действий, – сказала правительница. – Он настаивает на союзе с Пруссией против Австрии и Польши...

– Не смею осуждать планов графа Миниха, – возразил Линар, – но позволю себе думать, что в этом случае взгляд графа Остермана на внешнюю политику России будет гораздо вернее. Союз с польским и австрийским дворами принесёт вам гораздо более выгод, чем сближение с Пруссией. Граф Остерман, кажется мне, понимает дело как нельзя лучше.

– Так и поговорите с ним, пусть он поскорее представит мне доклад по этому делу. Надо же, наконец, на что-нибудь решиться. Он человек чрезвычайно умный и проницательный, – добавила Анна, вторя Линару в его похвалах Остерману. – Но отложим на время речь о поли-

тике; сказать по правде, она порядочно надоедает мне. Что вам, граф, всего более нравится в Италии?

– Там всё прекрасно, ваше высочество, и вечно голубой свод неба, – начал восторженно Линар, – и природа, и люди, и язык, и памятники былых времён...

– Мне бы очень хотелось взглянуть на эту страну, но, кажется, что желание моё никогда не исполнится.

– До некоторой степени я могу теперь же исполнить его, – отозвался Линар. – Я привёз в Петербург с собой множество видов Италии и имел намерение представить их вашему высочеству как моё почтительнейшее приношение. Теперь же оно будет более кстати, чем когда-нибудь, так как я, хотя немного, могу этим удовлетворить только что высказанное вами желание. Я оставил рисунки в приёмной, позвольте принести их.

– Благодарю вас, граф, за ваше внимание и за подарок, – с благосклонностью сказала правительница.

Линар вышел, чтобы принести гравюры и рисунки.

– Дело идёт на лад, – думал он, – при первом же свидании наедине с правительницей мне удалось напомнить ей о прежней её любви и добыть необходимые сведения по этой части; направить переговоры об интересах моего августейшего доверителя на хороший путь; вернуть словцо во вред первому министру, не расположенному к нашей политике; поддержать Остермана и, что всего важнее, завести непосредственно переговоры с ним, – с нашим сторонником.

Между тем Анна Леопольдовна, обыкновенно небрежная в своём наряде и вообще мало занимавшаяся своей наружностью, быстро подошла к зеркалу и стала поправлять свою напудренную причёску, обтянула корсаж своей робы, одёрнула кружева и вообще стала, что называется, охорашиваться перед зеркалом. Теперь признаки женщины-кокетки явно проглядывали в ней, и она осталась довольна, когда зеркало доложило ей, что если она и не красавица, то настолько миловидна и так ещё молода, что понравится каждому мужчине.

Линар вернулся с большим, великолепно переплетённым альбомом и положил его на стол перед Анной Леопольдовной, а она пригласила графа сесть рядом с ней. Началось рассматривание подарка. Превосходные произведения итальянских художников Линар дополнял своими увлекательными, живописными рассказами. Чем более перевёртывалось листов альбома, тем ближе, занятые рассматриванием картин и разговором, придвигались друг к другу и Анна, и Линар.

Но вот встретился упрямый лист: Анна с трудом могла переложить его на другую сторону. Линар поспешил ей помочь, и руки их прикоснулись.

– Какой же теперь будет рисунок? – спросила Анна, страстно смотря на Линара и, как будто по забывчивости, не отнимая своей руки, попавшей на его руку...

XXII

В настоящее ещё время Выборгская сторона представляет одну из наиболее глухих и уединённых окраин Петербурга, а в ту пору, к которой относится наш рассказ, она была обширным пустырьём. Только вдоль берега Невы стояло несколько убогих мазанок и изб, над которыми возвышалась церковь во имя Сампсония Странноприимца в том виде, в каком она существует доселе и в каком, что явствует из находящейся на ней записи, она была построена при Петре I. Великий монарх, как известно, не отличался изящным архитектурным вкусом и к высоким, наподобие башен, главам создаваемой им церкви, напоминавшим итальянское зодчество, смело прислонил стрельчатую колокольню, позаимствовав её образец из Москвы. Глухо и безлюдно было на этой окраине новой русской столицы, и если вообще кладбище наводит на человека печальное чувство, то кладбище, прилегавшее к сампсониевской церкви, должно было навевать самые тоскливые, щемящие сердце думы. Сюда в поздние сумерки, а иногда и в ночную пору, привозили из тайной канцелярии белые сосновые гробы, обтянутые железными обручами. В этих гробах покоились страдальцы, окончившие жизнь на дыбе в страшных пытках или вскоре после них. Сюда же привозили обезглавленные трупы погибавших на плахе, а также и мертвецов, вынутых из позорной петли. Здесь были могилы казнённых и опальных, над которыми не стояло ни памятников, ни крестов и не лежало надгробных плит. Здесь широко расстилалась «нива Божья», непрестанно взывавшая к небу о возмездии за людское неправосудие и за жестокости ближнего к ближнему. На этом кладбище никогда не бывало тех обычных гулянок, которые так весело и шумно, под сенью надмогильных крестов, справляет наш православный народ, «поминаючи родителей и родственников». Вечный покой царил над этой печальной юдолью смерти, его не нарушало даже молитвенное пение, и только время от времени прерывал всегдашнюю здешнюю тишь глухой стук заступа, готовившего тихое пристанище новому пришельцу.

Здесь над забытыми могилами только гудел ветер, завывала вьюга да шелестели своими длинными ветвями плакучие берёзы. Опасно было не только перебраться за высокий тын, окружавший кладбище, но даже и не совсем безопасно было приблизиться к нему. Отваживавшийся на это навлёк бы на себя подозрение: не пытается ли он помолиться над могилой «злодея»-страдальца, иногда искупившего пыткой и смертью действительную свою вину, а иногда только сделавшегося жертвой козней, происков или одной лишь пугливой мнительности, возбуждённой доносами и шпионством.

Немало уже насчитывалось на Сампсониевском кладбище опальных могил, и последними, ещё свежими, между ними были могилы Волинского и пострадавших вместе с ним Еропкина и Хрушова.

Подойти к этим могилам и, обнажив голову, склониться перед ними было бы в ту пору страшным преступлением, и среди родных и друзей этих страдальцев не находилось смельчаков, которые решились бы на такой отважный подвиг.

Однажды ранним мартовским утром в дверь убогого домика, в котором жил кладбищенский священник, постучалось трое каких-то гвардейцев. Подросток, внук священника, ахнул от удивления и со страхом отсунул задвижку, чтобы впустить пришедших незнакомцев. Переступив через высокий порог сеней, нежданные посетители очутились перед седым как лунь старцем, сидевшим в переднем углу под образами за простым деревянным столом и внимательно читавшим какую-то большую и толстую книгу в кожаном переплёте. Вошедшие молодые люди стали набожно креститься перед образами, а хозяин между тем, закрыв книгу и замкнув застёжки, встал перед незнакомцами. Лицо его отличалось величавой суровостью, но в глазах, которыми он словно обласкал своих посетителей, светилась кротость. Казалось, что пастырь этот олицетворял собою лики апостолов и первых подвижников Христовой церкви.

Гвардейцы подошли к нему под благословение и поцеловали его руку.

– Что вам нужно, чада мои, от меня? – приветливо спросил священник.

– Мы пришли просить тебя, батюшка, отправить панихиду над могилой болярина Артемия и его сострадальцев, – отозвался один из офицеров.

Священник призадумался.

– Аль боишься, батюшка? – заметил тот из пришедших, который вступил в разговор со священником и, как казалось, был вожаком своих товарищей.

– Не пугайся, батюшка, – подхватил один из них, – теперь совсем иное время, все вздохнули посвободнее, ныне правительствует государством благоверная великая княгиня Анна, а наши покойники пострадали при иноземце – нашем мучителе, да и её притеснителе. Видно, ты, отец, по привычке, со страха призадумался, не сразу всё сообразил...

– «Не страха ради иудейска» призадумался я, – начал кротко священник, наставительно погрозив пальцем говорившему, – задумался я о другом; вот ведь и вы, чада мои, пришли сюда только тогда, когда стало не боязно сделать это...

– Не кори нас этим, – отозвался один из гвардейцев, – мы в свою очередь отстрадали в самое опасное время за нашу матушку, правительницу; вон посмотри, – добавил он, указывая на одного из товарищей, – Ханьков до сих пор левой рукой шевельнуть не может, а у Аргамкова на днях только нога из лубков вышла, а уж о спинах их и говорить нечего. Я-то сам, – добавил Акинфеев, – хоть и не сделался калекой, да зато кровью стал харкать.

С выражением участия и соболезнования посмотрел священник на стоявших перед ним молодых людей, измождённые лица которых свидетельствовали о той страшной переделке, в которой они недавно побывали.

– Знаешь, батюшка, – сказал Ханьков, – ведь мы ни за что не пришли бы прежде к тебе потому только, что побоялись бы впутать тебя в наше дело...

– Спасибо вам за ваше надо мною оберегательство... В дела мирские я, впрочем, не мешаюсь, а святая церковь одинаково заповедует нам молиться и за праведных, и за злых, а за великих грешников и сугубые молитвы воссылать подобает. Панихиду я отслужу; одно только – «болярина» Артемия поминать не стану. Этой честью украсила его мирская власть и потом по праву отняла её у него, да и перед Господом все одинаковы: и первый болярин, и последний смерд. Он и без упоминания о сане усопшего отличит верного раба своего... Эй, Митя! – крикнул священник внуку, – сбегай-ка попроворнее к Трофимычу да скажи, чтоб пошёл петь со мною панихиду на могилу Артемия Петровича. Я туда иду.

Мальчуган живо накинул тулуп и побежал исполнять приказание деда.

– Присядьте-ка, господа честные, – сказал священник гвардейцам, указывая им на деревянные скамейки, – я сейчас буду готов.

Офицеры присели; священник пошёл в чулан, соседний с комнатой, и, повозившись там недолго, вышел оттуда в чёрной полотняной ризе, на которой серебряные позументы были заменены широкими белыми тесьмами.

– Кадилаццо и ладан в доме у меня есть, а жар в печке ещё не погас, угольков оттуда наберём, – говорил он, принимаясь выгребать в кадило уголья из печки. – Ну, теперь я готов, пойдёмте. Только как вы-то доберётесь, снег на кладбище по колено?.. Ночью его много навалило, а теперь вон как разъяснилось...

– Э! Батюшка, снег ничего, – перебил весело один из гвардейцев, – мы народ военный, ко всему, значит, привыкли, а вот тебе-то, отец, ходить по такому снегу, чай, не в привычку.

– Хожу частенько... христианских душ не забываю, а вот и 24-го числа пойду помолиться на ту могилу, к которой теперь идём. В тот день будет память преподобного Артемия, а покойный Волынский в этот день именинник бывал. Других тоже поминаю...

С трудом, завязая на каждом шагу в рыхлом снегу, пробирались священник и его спутники к могиле Волынского. Священник, оглядываясь назад, приостанавливался несколько раз,

поджидая дьячка Трофимыча. Они уже подходили к могиле, как показался издали священнический внук.

– Трофимыч нейдёт, – громко кричал деду мальчуган. – Говорит: боюсь, при чужих людях – опасно, кто их знает, что за народ... всякие шлятся... может, что и проведать хотят...

– Ну, и без него справимся, – сказал священник, – зачем на людей робких наводить страх и сумнение.

Молчаливо и грустно выглядело кладбище. В воздухе стояла тишь, а лучи утреннего весеннего солнца ярко озаряли однообразную белую пелену снега, слепившего глаза.

– Вот здесь лежит Артемий Петрович, тут Еропкин, а там Хрущов, – сказал священник, указывая рукой.

– Вечная им память, – проговорил Ханыков, и при этом он и его товарищи обнажили головы.

– «Благословен Бог наш»... – начал священник, и к его громкому, но уже старчески дребезжащему голосу присоединилось бряцанье мерно взмахиваемого кадила.

Испуганная этими необычайными звуками стая дремавших ворон поднялась с берёз и, сыпя с их ветвей снегом, с громким карканьем взвилась и беспокойно заметалась под синевой неба.

Внук священника заменил Трофимыча; дед местами подсказывал ему, что нужно было петь, а гвардейцы подтягивали, кто как умел.

Панихида кончилась.

– Теперь, честные господа, попрошу вас моего хлеба-соли отведать. Не обидьте старика, – сказал священник, поочерёдно и низко кланяясь гвардейцам, которые, переглянувшись между собой, кивнули друг другу головами в знак согласия и, поблагодарив священника, пошли к нему по его приглашению. По дороге к дому священника, а также и в его доме беседа шла о недавних событиях, а, разумеется, также и о Волынском.

– Видел я его в гробе, – рассказывал священник, – с приставленной головой и с приложенной рукой. Лицо бледное-пребледное. Рот был раскрыт, и из него высовывался остаток отрезанного языка... Страшно было взглянуть, – добавил старик, зажмуривая глаза при этом ужасном воспоминании.

При расставании Ханыков подал новый рублёвик священнику.

– Не нужно мне серебрянников за молитву мою перед Богом, – сказал этот последний, – а вот посмотреть так посмотрю, такой деньги мне видеть ещё не приходилось.

Взяв в руки новую блестящую монету, он с расстановкой прочитал надпись, в полукруге которой был изображён в повелительной и горделивой позе младенец в хитоне, с лентой через плечо и со звездой на груди.

– Это должен быть благочестивый император, – сказал священник, возвращая рублёвик гвардейцу. – Пошли нам, Господи, в его царствование мир, тишину и благоденствие, – с чувством добавил он.

– То-то и беда, батюшка, что, кажись, ничему этому не бывать. Злые люди и теперь непокая хотят. Вот хоть бы, например, один из вашего духовного чина, услышанные им от какого-то пьяного приказного на площади бредни в народ теперь пускает. Толкует, будто благочестивый наш государь крещён не был.

– Что ты?... – вскрикнул с изумлением священник. – Статочное ли дело такой вздор молоть! Промах только сделали, что не всенародно окрестили, да и манифеста о крещении его не издали...

– Да говорят ещё, – вмешался Аргаматов, – что этот проклятый немец – как бишь его? Граф Линар, что ли? – над правительницей власть забрал такую...

– Что пустяки городишь!.. – топнув ногой, крикнул Ханыков. – Злодеи тот слух пускают, а подобия тому никакого нет, а если б что случилось, то пора нам, христолюбивому воинству, постоять против чужих за родную землю и за народ православный.

Расставшись со священником, Ханыков, Аргамаков и Акинфеев отправились домой. Только что прошли они через Неву, как услышали вдалеке барабанный бой.

– Что это, братцы, никак тревога? Уж не случилась ли какая беда? – сказал один из них.

– Какой быть беде?.. – возразил Ханыков. – Бьют сбор, должно быть, какой-нибудь указ всенародно объявляют. А если бы что недоброе вышло, то и мы против него пригодиться можем... Пойдёмте поживее...

XXIII

Ханыков не ошибся, высказав догадку, что, вероятно, барабанным боем созывают народ для слушания какого-нибудь всенародно объявляемого указа. Когда он и его товарищи перешли на другую сторону Невы, то увидели на перекрёстке толпу, посреди которой стоял сенатский чиновник с бумагой в руках.

– «По указу императорского величества», – начал он громким голосом, оглядев по сторонам, все ли сняли шапки.

Офицеры пробрались сквозь толпу и остановились вблизи чиновника, читавшего указ. В указе этом объявлялось всем верноподданным, что фельдмаршал граф Миних, по преклонным летам и болезни, согласно его прошению, увольняется от должности первого министра, президента военной коллегии, директора шляхетного кадетского корпуса, от звания подполковника Преображенского полка и пр. и пр.

– Вот тебе и раз!.. – крикнул Аргамаков.

– Нечего тут удивляться, – перебил Ханыков, – давно уже ходили слухи, что фельдмаршал в отставку просится, только правительница не соглашалась на это, а он ещё более артачился. Не становиться же ей перед ним на колени.

– Так-то так, да только поверь мне, братец, что всё это натворил тот проклятый красавец, что теперь в такой чести у правительницы и над нею, как говорят знающие люди, такую власть забрал, какую имел Биронишка над... – с уверенностью промолвил Акинфеев.

– Ты как зарядил, так всё одно и то же толкуешь, – сердито крикнул Ханыков, – что тебе дался Линар?.. Да и не таковская правительница, чтобы заводить с кем-нибудь любовные шашни.

– Не о них и речь идёт, мой голубчик, – возразил Акинфеев, – не из одного только этого всё делается. Боже меня сохрани оговаривать великую княгиню, а просто этот немец умом и хитростью к ней подделался и осилил её. Все сказывают, что он такой ловкий парень, что всякому в душу влезет, а она, известно, всё-таки бабий ум.

– Вот поди, толкуй с ним, – с досадой пробормотал Ханыков, – фельдмаршал просто-напросто всем своей непомерной гордостью надоел. Больно уж много себя славил, за то теперь и другие с барабанным боем его славят.

Гвардейцы замолчали.

– А ведь неладно, что правительница уволила фельдмаршала, – думал Ханыков, идя с опущенной вниз головой. – Он – человек смелый, решительный, Бог знает, какого вреда надевать ей может; недаром же говорят, что он всё к цесаревне Елизавете Петровне льнёт. Ну, как что-нибудь устроит?.. Да и, кроме того, теперь все затараторят, что если уж она к Миниху неблагодарной оказалась, то, значит, ей и не стоит усердно служить; стало быть, ни во что никакие заслуги не ставит... Плохо.

– Прощай, брат! – сказал Акинфеев, – я с Аргамаковым поверну направо.

Слова эти вывели Ханыкова из задумчивости.

– А что, господа, кажись, сегодня никакого наряда нам нет? Так не придёте ли вечером ко мне? Потолкуем кое о чём.

– Спасибо, придём, если что-нибудь паче чаяния не задержит, – отвечали гвардейцы.

Сошедшиеся под вечер к Ханыкову его товарищи успели пособрать в городе разные вести. Они рассказывали теперь один другому, что принц Антон и Остерман не хотели удовольствоваться отставкой Миниха, но думали запрятать его в Сибирь, и что только правительница не пожелала так распорядиться, потому в особенности, что за Миниха сильно заступилась её любимица, фрейлина Менгден. Гвардейцы тосковали и об отданном в тот день приказе насчёт усиления в Зимнем дворце караула и насчёт ходьбы патрулей по городу и днём, и ночью, объ-

ясняя такой приказ опасением правительницы, чтобы Миних не накудесил что-нибудь. Говорили они и о том, что за фельдмаршалом зорко и постоянно следят шпионы, тайно приставленные к нему принцем Антоном, и что в случае, если окажется, что он бывает у цесаревны, то его приказано взять живого или мёртвого. Акинфеев сообщил между прочим дошедший до него дворцовый слух, что правительница и её муж боятся теперь ночевать в своей спальне и что они каждую ночь будут менять комнату из боязни, чтобы к ним не пробрался тайком Миних и не схватил бы их, как схватил он бывшего регента⁸⁰.

В то время, когда подобные слухи ходили в городе, отставленный от войска фельдмаршал и уволенный от должности министр казался совершенно спокойным и довольным. Гордость не позволяла ему выразить ни малейшей тени неудовольствия, и он делал вид, что, получив отставку, нисколько не оскорбился этим, а между тем сильно негодовал на происки Остермана, поддержанные Линаром, на слабость и неблагодарность правительницы и на торжество принца, которого он считал ничтожнейшим в мире человеком и который, однако, тоже, со своей стороны, посодействовал его падению.

Получив отставку, Миних представился со своей женой правительнице, которая приняла его чрезвычайно милостиво, а он уверял её в своей неизменной преданности, заявив, впрочем, что очень рад полученной им отставке и что её высочество ничем другим не могла оказать к нему большего внимания. От правительницы граф и графиня отправились к принцу, перед которым Миних выказал свою величавость. При прощании с торжествующим принцем у раздосадованной графини выступили из глаз слёзы.

– Надеюсь, – заметил горделиво Миних, – что вы плачете не по поводу моего увольнения, которому вы должны радоваться так же, как радуюсь я.

На душе у Миниха было, однако, совсем другое. В ушах его повторялся теперь резко и гневно высказанный ему правительницей укор в словах: «вы, фельдмаршал, всегда за короля прусского!» Укор этот тем более раздражал Миниха, что он казался ему намёком на подкуп, так как он только перед тем получил от короля в подарок силезское имение Бюген, принадлежавшее до того времени Бирону. Все очень хорошо знали, что король делал этот подарок Миниху, надеясь склонить его на свою сторону. Не забыл Миних и переданного ему рассказа о том, что правительница, узнав о его выздоровлении после тяжкой болезни, выразилась, что «для Миниха было бы счастьем умереть теперь, так как он окончил бы жизнь в славе и в такое время, когда он находился на высшей ступени, до которой только может достигнуть честный человек». Отзыв этот убедил фельдмаршала, как мало ценит его Анна, даже и после того, что он сделал для неё.

Увольнение Миниха от военных должностей произвело неблагоприятное впечатление для правительницы и в войсках. Несмотря на то что он был немец, и несмотря на его суровость и даже жестокость, солдаты чрезвычайно любили фельдмаршала и за его бесстрашие прозвали его «соколом». Офицеры из русских помнили, что благодаря Миниху они были уравнены с офицерами из иностранцев и остзейцев, получавшими, по указу Петра Великого, в полтора и в два раза больше жалованья, нежели офицеры из природных русских. Отставкой Миниха не только не было удовлетворено, но, напротив, ещё сильнее было раздражено оскорбляемое чувство национального самолюбия русских.

– Положим, – говорили они, – правительница хорошо сделала, спихнув немца Миниха с главных должностей, но разве дала она ход нашей братии, русским? Все должности фельдмаршала-министра расхватили чужеземцы, да и кто не знает, через кого всё это сделалось? – и при этом враждебно произносилось имя Линара.

Тревога правительницы, в особенности же тревога её мужа насчёт смелых замыслов Миниха, прекратилась тогда только, когда он перебрался за Неву в великолепный дом, пода-

⁸⁰ Всё это исторически верно. (Примечание автора).

ренный ему правительницей, которая назначила ему ежегодную пенсию в 15000 руб., и в виде почёта, но собственно для наблюдения за ним, приставила к его дому сильный караул. При назначенной теперь Миниху пенсии и при громадных доходах с своих имений Миних жил богатым барином, и в день своего рождения 9 мая дал великолепный бал, на котором он открыл танцы в первой паре с правительницей. На сём «богатом трактаменте», как сообщалось в «Ведомостях», были: «пребогатая ужина и италийский концерт, и её императорское высочество со всяким удовольствием в доме его высокографского сиятельства забавиться благоволила».

Мало-помалу шумные толки об отставке Миниха, как это обыкновенно бывает и со всякими толками, стали стихать, но случай этот не был забыт недругами правительницы, и им готовы были воспользоваться, когда представится надобность, как явным доказательством её неблагодарности. Казалось, теперь всё успокоилось: не было слышно нигде особого ропота, как это было при регенте. Правительница поступала кротко. Бирона приговорили к смертной казни, но, пощаждённого правительницей, собирались отправить с его семейством в Пелым⁸¹, на вечную ссылку. Иностранными делами стал управлять Остерман, а внутренними – граф Головкин. Иностранные государи посылали правительнице письма, в которых поздравляли её с принятием правления империей, а некоторые отправляли и чрезвычайных посланников, чтобы они принесли лично поздравления Анне Леопольдовне и выразили ей приязнь и дружбу своих кабинетов. В числе явившихся теперь в Петербург дипломатов был прежний официальный сват принцессы, маркиз Ботта ди Адорно, посланник римско-немецкого императора, назначенный в Петербург по желанию самой правительницы, хотевшей составить свой домашний кружок преимущественно из образованных иностранцев.

Иностранные дипломаты пользовались настоящим колебанием петербургского кабинета, и каждый из них разными путями домогался похитрее повести свои дела. После удаления Миниха от дел Ботта, при содействии Остермана и Линара, взял окончательный перевес. Правительница не думала вовсе, как это предполагалось прежде, поддерживать притязания короля прусского на Силезию, но и не переходила пока к решительным действиям в защиту императрицы Марии-Терезии, хотя к этому, кроме Ботты, склонял её и бывший в Петербурге английский резидент Финч. Происки дипломатов должны были отзываться и на внутренних делах империи, так как они, разделяя двор на два враждебных лагеря, заставляли одних ожидать содействия своим интересам со стороны правительницы, а других – со стороны цесаревны Елизаветы. Во главе последних находился в это время французский посланник, ловкий и пронырливый маркиз де ла Шетарди, сблизившийся с Елизаветой в тех видах, что при вступлении её на престол ему удастся впутать и Россию в начавшуюся войну между Австрией и Пруссией, причём Россия сделается, согласно политическим соображениям версальского кабинета, союзницей этой последней. В этом случае маркиз находил для себя энергическую поддержку в шведском посланнике, так как Швеция следовала во всём за Францией. Чем заметнее склонялась правительница на сторону Австрии, т. е. чем неудачнее шли дела маркиза де ла Шетарди, тем с большей энергией старался он произвести переворот в пользу Елизаветы, чрезвычайно благоволившей и к Франции, и лично к нему. Находя, что по отдалённости Франции она не может иметь непосредственного влияния на Россию, маркиз старался повести дела таким образом, чтобы ближайшая наша соседка – Швеция – объявила войну правительству Анны Леопольдовны под предлогом чрезвычайно странным, а именно, что Швеция хочет избавить русский народ от господства над ним иностранцев. Понятно было, что в такой заботливости Швеции высказывалось её требование о низвержении с русского престола Брауншвейгско-Люнебургского дома и о предоставлении императорской короны Елизавете Петровне, как бы олицетво-

⁸¹ После пятимесячного следствия Бирон был приговорён к смертной казни четвертованием, затем помилован и 13 июня 1741 года отправлен в «вечную» ссылку в сибирский город Пелым.

рявшей собой всё русское, в противоположность правительнице, на которую смотрели как на немку, чуждающуюся русских. Главным к тому поводом была молва о близких отношениях Анны Леопольдовны к графу Линару и о том неотразимом влиянии, какое он начинал иметь на неё. В Петербурге заговорили о новом Бироне...

XXIV⁸²

В одном из домов так называемого «артиллерийского квартала», на нынешней Литейной улице, – тогда ещё глухой и застроенной преимущественно «светлицами» или казармами артиллеристов, – в просторной комнате стояли аппараты с колёсами и другими инструментами, необходимыми при отделке драгоценных камней. В этой комнате недавно поселился молодой ювелир по фамилии Позье, родом швейцарец, только что отошедший от своего хозяина-забияки и обзаводившийся теперь собственной мастерской. На своём новоселье торговец-ремесленник мог рассчитывать на хорошие заказы и заработки, так как он, живя ещё в учении у лучшего тогдашнего петербургского ювелира Гроверо, успел уже познакомиться со многими богатыми людьми, охотно тратившими деньги на покупку драгоценных камней. Бриллианты и самоцветные камни в ту пору были в Петербурге, в особенности при дворе, в большой моде. Позье высчитывал, что на петербургских дамах, сравнительно даже не так богатых, бывало надето бриллиантов не менее как на десять или на двадцать тысяч тогдашних рублей, а об известных богачках и говорить было нечего. Кроме того, и ко двору беспрестанно требовались то табакерки, осыпанные бриллиантами, то перстни с дорогими солитёрами⁸³ для подарков как иностранным послам, так и русским вельможам, то серьги и ожерелья тоже для подарков или придворным дамам, или фрейлинам. Притом и другое обстоятельство благоприятствовало начинавшейся торговле Позье: его прежний хозяин принялся кутить, играть в карты и скоро дошёл до того, что целые месяцы проводил в непрерывном кутеже. Поэтому прежние заказчики и покупщики Гроверо перестали иметь с ним дело и начали обращаться к бывшему его ученику. Знатные господа и в особенности знатные госпожи частенько приглашали к себе Позье на дом с его изделиями и быстро раскупали их у него; нередко даже именитые покупщики и покупательницы удостаивали своими посещениями его скромное жилище. Охотно и весело сидел молодой ювелир за работой, громко распевая песни своей родной Швейцарии под неумолкаемый шум шлифовального колеса, когда к нему в комнату вошёл щеголеватый паж из польско-саксонского посольства, отправленный графом Линаром. Паж сообщил Позье, что граф, по приказанию правительницы, просит его прийти сейчас же в Зимний дворец.

Ювелир не удивился несколько присылке к нему пажа Линаром, так как он знал посланника, который любил не только пощеголять сам изящными вещичками, но и преподнести их в подарок разным петербургским красоткам, почему и делал закупки у Позье, изредка, впрочем, на чистые деньги, преимущественно же в кредит. Одно только обстоятельство показалось ювелиру несколько странным, а именно: почему правительница потребовала его к себе не обычным порядком – или через дворцового ездового, или через кого-нибудь из придворных, а через человека, ей, по-видимому, совершенно постороннего? Позье в недоумении почесал затылок, переспросил хорошенько пажа и убедился в том, что в призыве его во дворец от имени графа Линара не может быть не только никакой ошибки, но и никакого сомнения, так как граф, отправляясь туда, сам лично и вполне обстоятельно передал пажу то поручение, которое он и исполнил теперь в точности. Позье, как мысленно, так и на словах через посланного поблагодарил графа Линара за его благосклонное внимание и просил доложить его сиятельству, что он без малейшего замедления исполнит его приказание – явиться к правительнице.

Идти в Зимний дворец было для Позье не впервые. Будучи ещё подмастерьем у Гроверо, он часто бывал там. Незадолго до своей смерти Анна Ивановна с караваном, пришедшим из Китая в Петербург, получила множество драгоценных камней, купленных на Востоке. Ей любопытно было посмотреть, как режут и шлифуют их, почему она и приказала дать знать

⁸² Рассказ этот основан на записках Позье. (Примечание автора).

⁸³ Солитёр – крупный бриллиант, вправленный в украшение отдельно, без других камней.

хозяину Позье, Гроверо, чтобы он доставил свои рабочие снаряды во дворец и поместил бы их в одной из комнат, близких к покоям императрицы. Здесь принялся работать Гроверо со своим тогдашним подмастерьем Позье; работа их продолжалась беспрерывно почти три месяца. Государыня приходила во временную мастерскую каждый день раза по два, по три и следила внимательно за работой. Скромный и трудолюбивый швейцарец полюбился ей, и она лично сделала ему предложение: не пожелает ли он отправиться на несколько лет в Китай со снаряжавшимся тогда туда русским посольством, чтобы закупать там на её счёт драгоценные камни, до которых она была страстная охотница. Отправка в Китай Позье не состоялась, однако, по разным причинам, потом Позье как-то поотстал от двора, и теперь, отправляясь в Зимний дворец по зову Линара, молодой ювелир думал, не будет ли, по рекомендации графа, сделано ему от правительницы какое-нибудь предложение, подобное прежнему.

В ожидании важной перемены в своей жизни Позье не без некоторого замиранья сердца вошёл в ту комнату, где находилась правительница. Он застал её в простом домашнем уборе, наедине с его неожиданным покровителем, графом Линаром. С первого раза Позье не догадался, что тут делается: в маленькой белой ручке правительницы был простой гвоздь, которым она силилась выковырнуть из оправы великолепный бриллиант. Линар стоял за креслами и через её плечо смотрел на эту работу. Раскрасневшаяся молодая женщина, видимо, употребляла все усилия, чтобы настоять на своём, но труд её был напрасен: крепко вделанный в оправу камень не поддавался нисколько под её слабыми пальцами. Линар улыбался, да и сама она весело смеялась и над своей неумелостью, и над тем инструментом, который употребляла в дело.

– Неужели вы, ваше высочество, всегда и во всём бываете так настойчивы и так нетерпеливы? – спрашивал Линар, быстро отстранившийся от правительницы при входе Позье, отшивавшего её высочеству низкие поклоны.

– Почти что всегда, – отвечала она в шутовском тоне.

– Однако вышло так, как я предсказывал: вы ничего не успели сделать вашими нежными ручками. Но вот пришёл господин Позье, я хорошо его знаю, он вполне достойный молодой человек и, несмотря на свою юность, знаток дела, которым занимается. Позвольте мне обратить на него милостивое внимание вашего императорского высочества.

Перед правительницей в это время лежала куча драгоценностей, и чего только тут не было! Увидев Позье, Анна Леопольдовна поспешно бросила на стол и гвоздь, и бриллиантовый аграф, бывшие в её руках, и, оттирая непривычные к грубой работе пальцы, повернула голову в ту сторону, где стоял Позье.

– Надобно, чтобы вы помогли нам сломать эти вещи, я хочу переделать их по последней моде; ни я, ни граф никак не можем сделать этого, и я насилу дождалась вас, – сказала она ювелиру.

– Переделкой многих из тех уборов, какие я вижу здесь на столе, занимаются, ваше императорское высочество, собственно золотых дел мастера, моя же специальность заключается в оценке, резке и шлифовке драгоценных камней, – почтительно заметил Позье.

– Это будет очень кстати... А сломать эти вещи вы можете? – с живостью спросила она, встав с кресел и проводя по груди лежавших перед ней драгоценностей рукой, из-под которой брызнули яркие струи разноцветных огней и искр.

– Могу, если только вашему высочеству угодно будет приказать мне сделать это, – отвечал Позье.

– И сию же минуту можете сделать? С вами есть необходимые для этого инструменты? – с выражением сильного нетерпения, скороговоркой спрашивала Анна Леопольдовна.

– Я всегда имею их при себе, – было ответом Позье.

– Вы научите и нас этой работе, а потом мы будем помогать вам. Не стесняйтесь несколько моим присутствием; работайте как у себя дома: сидите, ходите, стойте, только делайте поскорее, – проговорила второпях правительница.

Позье достал инструменты и принялся тотчас же за работу. Анна Леопольдовна, посмотрев несколько минут на его занятие, взяла от него щипчики и попыталась делать то же, что он, но у неё не было ни навыка, ни ловкости, ни силы, и она, видя свой неуспех, с досадой кинула на стол взятое ею для ломки ожерелье. Линар хотел было тоже приняться за работу, но и ему она оказалась не с руки.

– Пусть Позье работает один; мы, как видно, к нему в помощники не годимся, – сказала Анна Леопольдовна, обращаясь к Линару, – будем лучше продолжать вчерашнее наше чтение; мне чрезвычайно понравилось это сочинение, – добавила она, подавая Линару французскую книжку, – в особенности же те страницы, где описываются страдания молодой несчастной принцессы. Я перечитывала это место уже несколько раз; но вы, граф, такой превосходный чтец, что мне приятно будет ещё раз послушать то, что я знаю почти наизусть⁸⁴.

– Почту за особенное для себя счастье исполнить ваше приказание и постараюсь прочесть так, чтобы любимая вами книга понравилась вам ещё более, – отозвался с утончённой любезностью Линар. – Мне кажется, впрочем, – продолжал он, – что сюжет этого сочинения очень печален, зачем вы выбрали эту книгу? Зачем слушать рассказы о приключениях какой-то молодой несчастной принцессы такой счастливой женщине, как вы? Зачем наводить себя, в светлые минуты жизни, на мысли о бедствиях и страданиях?..

Правительница не отвечала ничего, но по её лицу, только что оживлённому весёлостью, пробежало выражение сильной грусти, и она, задумавшись, опустила в кресла. Линар сел невдалеке от неё и начал читать. Явственно и выразительно читал он, оттеняя каждое выражение, каждое слово. Анна Леопольдовна внимательно слушала его, и когда он дошёл до любимого ею в книге места, она тяжело вздохнула, и на глаза её навернулись слёзы, которые она силилась сдержать.

– Вы правду сказали, граф, – проговорила правительница, – зачем омрачать немногие светлые минуты жизни грустными мыслями? Я чувствую, что на меня находит страшная тоска, что меня начинают мучить ужасные предчувствия. Положите книгу в сторону, и лучше займёмся опять ювелирной работой, быть может, теперь она удастся нам...

– Мы, ваше высочество, сделали уже столько неудачных попыток по этой части, что едва ли стоит приниматься снова за дело. К чему подвергать себя малейшим, даже самым пустым неудачам в жизни, если только есть возможность как-нибудь избежать их? Посмотрим лучше, как работают за нас другие... – проговорил с улыбкой Линар.

– Вы правы, граф, – ответила правительница и, обращаясь к Позье, спросила его, скоро ли он кончит свою работу.

– Никак нет, ваше императорское высочество. При всей моей спешности исполнение этой работы потребует несколько дней. Здесь, – проговорил Позье, указывая с видом знатока на стол, – драгоценностей на несколько миллионов. Одни эти рубины чего стоят! – вскрикнул он в восхищении, пожимая плечами.

Правительница взглянула на принадлежавшие ей сокровища с таким равнодушным выражением, как будто хотела сказать: «К чему мне всё это?»

– Вы вот что сделайте, – стала она торопливо приказывать ювелиру, – отберите поскорее самые лучшие, самые дорогие камни и отложите их особо, я возьму их к себе; маленьких бриллиантов не вынимайте, а ломайте так, чтобы они оставались в оправе.

⁸⁴ О любимой книге правительницы такого содержания упоминает Миних-сын, не означая, впрочем, её заглавия. (Примечание автора).

– Кому же, ваше высочество, прикажете отдать эти бриллианты, а также золото и серебро? – спросил Позье.

– Возьмите всё это себе, а если этого вам не будет достаточно, как платы за вашу работу, то я прикажу прибавить вам денег по вашему счёту. Да, кстати, я хочу ещё переговорить с вами и о других вещах, которые лежат в особой шкатулке, а здесь положены только те, которые, как я думаю, вышли из моды и которые нужно поскорее переделать.

Изумлённый Позье не верил такой щедрости, с какой вознаграждала правительница его труд. Он приходил к ней работать два раза, и по окончании работы оказалось, что разного лома и маленьких бриллиантов вынес на такую сумму, что сделался вдруг весьма зажиточным торговцем-ювелиром, для чего, однако, требовалось немало денег такому бедняку, каким в то время был Позье.

Ювелир, согласно приказанию правительницы, отобрал самые лучшие камни, вынул их из оправы и представил их ей, а она положила их на особый столик.

– Вы сегодня довольно уже поработали, – сказала она ласково Позье, – приходите завтра утром, чтобы заняться остальным.

Позье откланялся и вышел.

– Я попрошу вас, граф, принять от меня эту безделицу, – сказала правительница по уходе Позье, взяв со столика полную горсть самых дорогих камней и ссыпав их в шляпу Линара, лежавшую на кресле.

При виде этого подарка всегда находчивый дипломат растерялся. Он понял, что правительница сразу желает обогатить его, и в смущении не знал, что сказать, и только движением головы и рук старался выразить свою благодарность и вместе с тем решительный отказ от неожиданного и дорогого подарка.

– Вы, вероятно, не хотите принять это, потому что вам дарит женщина?.. Самолюбие, весьма похвальное в мужчине, – сказала Анна Леопольдовна, – но вы, граф, ошибаетесь: это дарит вам правительница русской империи, которая, слава Богу, в состоянии вознаграждать с ещё большей щедростью тех, кто, как вы, приносит пользу России. Я обязана вам выгодным трактатом с Австрией и должна за это отблагодарить вас.

Линар кланялся и хотел сказать что-то, но правительница перебила его.

– Или вы, быть может, как дипломат, строго соблюдающий все формальные тонкости, – сказала она, – желаете, чтобы я этот подарок в каком-нибудь другом виде препроводила к вам через моего министра и чтобы, таким образом, все знали о моей к вам признательности, о моём к вам высоком благоволении, а я этого не желаю... Как вы, однако, тщеславны, граф!.. Я этого от вас вовсе не ожидала... – насмешливо добавила Анна Леопольдовна.

– Не смею раздражать ваше высочество моим дальнейшим противоречием, но только позволю себе заметить, что такая щедрая награда не соответствует моим ничтожным заслугам.

– Предоставьте мне право оценивать их... – сказала твёрдым голосом Анна.

Линар схватил и поцеловал её руку, но с таким чувством, с каким никогда представитель одной державы не целует руки у молоденькой и хорошенькой представительницы другой, хотя бы даже и самой дружественной державы.

XXV

В зимнюю пору на улицах Петербурга, чаще всего в окрестностях Смольного двора, где имела свой дом цесаревна Елизавета Петровна и куда недавно был переведён с Васильевского острова на постоянную стоянку Преображенский полк, – можно было встретить простые широкие сани, набитые внизу сеном, с высокой спинкой, через которую был перекинут наотлёт богатый персидский ковёр. Тройка коней, в русской упряжи с блестящим медным набором, с сильным коренником под широкой дугою, узорчато расписанной пёстрыми красками и золотом, быстро мчала эти сани. Под полозьями их скрипел и визжал снег, взвивавшийся пылью из-под копыт несшейся во весь опор тройки. Ямщик, стоя в санях, в шапке, надетой набекрень, распустив вожжи, ухарски гикая и молодецки то покрикивая, то посвистывая, ободрял коней, и, казалось, что от быстроты их бега у седоков захватывало дух. Весёлое бряцание медного набора на упряжи, резкое звяканье бубенчиков и заливающийся звон валдайского колокольчика, подвешенного под дугой, ещё издали извещали проезжих и прохожих о приближении лихой тройки, которой все проезжие спешили давать дорогу и, смотря ей вслед, любовались ею.

– Вот так настоящая русская царевна! – часто слышалось от тех, кто встречался с мчавшейся в санях Елизаветой, – иноземщины не терпит, во всём, насколько может, русских обычаев придерживается.

Действительно, цесаревна представляла собой в Петербурге заметное исключение не только в домашней жизни, но даже и на улице. В эту пору и двор, и русские бары, усваивая иноземные обычаи, променивали уже русские сани на иностранные кареты, выписываемые из Варшавы, Вены и Парижа. В эту пору, по словам историка князя Щербатова⁸⁵, «экипажи тоже великолепия возчувствовали», и между знатными людьми «богатые, позлащённые кареты, обитые бархатом, с золотыми и серебряными бахромами, тяжёлые и позлащённые или посеребрённые шоры с кутасами шёлковыми и с золотом и серебром, также богатые ливреи стали употребляться». Всему русскому как будто оказывалось презрение и при дворе, и окружавшей его знатью.

Народу и преображенцам, близким соседям цесаревны, нравилась, впрочем, не одна чисто русская обстановка цесаревны, они любовались и ею самой. Елизавета была в ту пору настоящей, хотя уже и несколько зрелой, русской красавицей, представляя собою тот идеал женской красоты, какой создал наш народ в своих песнях и сказках: высокая, стройная, полная, глаза с поволокой, а в лице кровь с молоком. Можно было засмотреться на неё, когда она мчалась на своей тройке с нарумяненными от мороза щёчками, в душегрейке старинного русского покроя, в низенькой бархатной, отороченной соболем шапочке, из-под которой выбивались густые пряди тёмно-русой косы.

Приветливо кланялась Елизавета каждому встречному, отдававшему ей почтение, и весело и ласково кивала преображенцам, как своим знакомым соседям. Да и они в свою очередь запросто обращались с нею. Во время её катаний около Смольного двора они вскакивали на задок или на облучок её саней, то зазывая её к себе на именины, на свадьбу или на крестины, то сообщая ей о каком-нибудь своём солдатском горе, помочь которому – как они все очень хорошо знали – цесаревна всегда была готова.

«Елизавета Петровна, – писал впоследствии в своих «Записках» фельдмаршал Миних, – выросла, окружённая офицерами и солдатами гвардии, и во время регентства Бирона и принцессы Анны чрезвычайно ласково обращалась со всеми лицами, принадлежащими к гвардии. Не проходило почти дня, чтобы она не крестила ребёнка, рождённого в среде этих первых полков империи, и при этом не одаривала бы щедро родителей, или не оказывала бы милости

⁸⁵ Имеется в виду Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790), автор книги «О повреждении нравов в России».

кому-нибудь из гвардейских солдат, которые постоянно называли её «матушкой». Елизавета, имевшая свой дом вблизи новых Преображенских казарм, часто бывала в нём и там виделась с Преображенскими офицерами и солдатами. До правительницы стали доходить слухи об этих собраниях, в особенности часто о них доносил ей её супруг, постоянно опасавшийся происков Елизаветы, но Анна Леопольдовна считала всё это пустяками, на которые не стоило, по её мнению, обращать никакого внимания. Угодливые голоса вторили ей в этом случае, и по поводу сношений цесаревны с солдатчиной при дворе только насмешливо повторяли, что она «водит компанию с преображенскими гренадёрами».

Не одни, впрочем, гвардейские офицеры и солдаты, ласкаемые Елизаветой, отдавали ей, как женщине, предпочтение перед молодой правительницей. Елизавета, неумолчная хохотушка, разговорчивая, ветреная до того, что, по собственным словам её, она была счастлива только тогда, когда влюблялась, – несравненно сильнее привлекала к себе всех, нежели правительница, всегда являвшаяся в обществе холодной, сдержанной, задумчивой и как будто чем-то недовольной. На лице Анны выражалась постоянная грусть, тогда как улыбка не сходила с лица Елизаветы. Первую из них – особенно после неожиданно произведённого ею ночного переворота – стали считать женщиной чрезвычайно хитрой, долго обдумывающей каждый шаг и неспособной проронить ни одного лишнего слова, и думали, что только молодость и неопытность не позволяют ещё ей показать весь её ум и её сильный характер. Напротив того, в Елизавете видели самую простодушную девушку, готовую во всякую минуту высказать всё, что лежит у неё на сердце, и так как она почти десятью годами была старше Анны Леопольдовны, то и полагали, что нрав её установился окончательно, и что она на всю жизнь останется такой же добродушной, кроткой и откровенной, какой уже все привыкли её знать. Сильно, однако, ошибались в подобной оценке этих двух женщин-соперниц, считавших за собою право на русскую корону, так как в сущности правительница была и беспечнее, и простодушнее, чем Елизавета, хотя беззаботная, весёлая и обходительная, но в то же время бывшая, что называется, себе на уме.

Елизавета, пользуясь тем, что правительница снисходительно смотрела на образ её жизни и на сближение её с гвардией, не подозревая в этом со стороны цесаревны никаких козней, мало-помалу приобретала своих верных приверженцев, готовых постоять за неё в решительную минуту, и постепенно, исподтишка, расставляла сети своей сопернице. В то же время она чрезвычайно искусно притворствовалась теперь перед Анной, как притворствовалась прежде перед её родной тёткой, а своей двоюродной сестрой – умершей императрицей. Елизавета долгое время думала, что корона после смерти Анны Ивановны, избранной случайно на престол горсткой вельмож, не минует её как дочери Петра Великого, и потому, хотя она и была недовольна своим положением в царствование Анны Ивановны, но, в надежде на будущее, оставалась спокойной, не принимая со своей стороны никаких мер до тех пор, пока не состоялось бракосочетание принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Тогда она увидела, что вследствие этого брака она окончательно отстранена от наследия престола, и сделала несколько попыток, чтобы собрать около себя кружок своих приверженцев.

Честолюбивые свои замыслы она вела в такой глубокой, непроницаемой тайне, что ничего не обнаружилось при жизни императрицы, с которой она постоянно оставалась в самых дружеских отношениях. После кончины Анны Ивановны и в особенности после того, как Бирон был так нежданно-негаданно арестован Минихом и преображенцами, она поняла, что, опираясь на горстку надёжных людей и на войско, не трудно будет повторить нечто подобное и в свою пользу, и вот она начала заботливо обдумывать свои коварные планы против правительницы и её сына. Тем не менее Елизавета продолжала хитрить перед нею и старалась вводить всех в заблуждение своей напускной беспечностью. Первые месяцы после того, как принцесса Анна объявила себя великой княгиней и правительницей, прошли в величайшем согласии между ней и Елизаветой; они посещали одна другую почти каждый день совершенно

без церемоний и, казалось, жили между собой, как родные сёстры, как самые близкие подруги.

Такое согласие было, однако, непродолжительно: между ними пробежала вскоре чёрная кошка. Недоброжелатели той и другой стороны поселили между молодыми женщинами начало раздора. До правительницы стали доходить оскорбительные отзывы, делаемые насчёт неё Елизаветой, высказываемые цесаревной нескромные намёки на сердечные отношения правительницы к графу Линару, а также и обнаруживаемые Елизаветой подозрения насчёт если уже не сделанной, то весьма возможной подмены в случае смерти болезненного и слабого сына Анны, во имя которого она правила государством.

В то же время усердные вестовщики и вестовщицы передавали цесаревне о тех опасностях, которые грозят ей со стороны правительницы. Цесаревне стало известно, что проникший в её замыслы Остерман советует правительнице выдать её поскорее замуж за какого-нибудь «убогого» немецкого принца, и в опасении этом ей пришлось убедиться, когда в Петербург, в качестве её жениха, явился принц Людвиг Брауншвейгский, родной брат принца Антона, который при содействии России и был избран герцогом Курляндским вместо сосланного Бирона. Крепко не хотелось Елизавете, любившей свободу и привыкшей к воле, выходить замуж. К тому же предназначенный жених ей не нравился, а в довершение ко всему, выйдя замуж за Людвигу, она должна бы отправиться на житьё к немцам, до которых Елизавета не была большая охотница. Отказываясь от вступления в брак с принцем Людвигом, она ссылалась на то, что дала обет не выходить замуж.

Ещё более, чем известие о браке, напугала цесаревну другая недобрая дошедшая до неё весть. Она вздрогнула и побледнела, когда ей рассказали, что правительница, по совету того же Остермана, намерена засадить её в монастырь на вечное заточение. Поверить этому было не трудно, так как примеры насильного пострижения уже бывали в царской семье. С ужасом подумывала Елизавета, что её заставят променять блестящую корону на чёрный клобук, который так не пристанет к её молодому весёлому лицу. Елизавете казалось уже, что она сидит в глухой обители за крепкими затворами, в маленькой мрачной келье с надёжной решёткой; что ей ничего более не остаётся, как только сделаться смиренной, послушной инокиней, потому что в противном случае её примутся укрощать клюкой матери-игуменьи, голодом, железной цепью с ошейником, а, пожалуй, чего доброго, и шелепами, бывшими тогда в большом ходу в женских наших обителях, как самым надёжным средством для усмирения строптивых отшельниц⁸⁶.

И другие обстоятельства болезненно раздражали Елизавету. Она роптала на свою горькую, обездоленную судьбу, сравнивая своё относительно скромное и – что всего казалось ей хуже – своё вполне зависимое положение с блестящим положением правительницы, пользовавшейся теперь полною свободой. Настроенная враждебно против Анны, Елизавета подозревала, что правительница оказывает ей самые недружелюбные чувства, и то, чего не замечалось прежде, при их добрых между собой отношениях, представлялось теперь цесаревне крайне и умышленно оскорбительным. Так, Елизавета считала себя обиженной донельзя тем, что приехавший в Петербург персидский посланник не был у неё с визитом. В этом видела она явный знак оказанного ей невнимания и неуважения, полагая, что правительница, распорядившись таким образом, хотела унижить её перед всем двором и иностранными посольствами, находившимися при русском дворе. Правительница поняла свою ошибку и отправила к цесаревне двух лиц, заведовавших церемониальными делами, для извинения перед нею. Сделав им выговор, Елизавета сказала:

– Я вам это прощаю, так как вы только исполняете то, что вам приказывают, но скажите Остерману, который, собственно, устроил это дело таким неприличным образом, если он

⁸⁶ Шелеп – узкий и длинный холщовый мешок, набитый мокрым песком, заменявший в монастыре плетёную палку. (Примечание автора).

забыл, что мой отец и моя мать вывели его в люди, то я сумею его заставить вспомнить, что я дочь Петра I и что он обязан уважать меня.

Смелая речь цесаревны встревожила правительницу, и она, слабая характером, сочла нужным отправиться к Елизавете для личных перед ней извинений.

Тяжелы и неприятны были для Елизаветы и денежные её дела. Красавец Алексей Разумовский⁸⁷, заведованию которого они были поручены, только и делал, что пел малороссийские песни и думки да играл на бандуре, не занимаясь вовсе ни интендантской, ни шталмейстерской частью; частые и щедрые раздачи офицерам и солдатам чрезвычайно ослабляли денежные средства Елизаветы. Несмотря на получаемое ею большое содержание, она постоянно была без денег, ей приходилось занимать, а потом, конечно, и расплачиваться с кредиторами, и в этом последнем случае не оставалось ничего более, как только обращаться с просьбой к правительнице, и такое унижение было всего мучительнее для её самолюбия. При просьбах Елизаветы о выдаче денег или об уплате долгов Анна Леопольдовна входила в роль расчётливой правительницы-хозяйки и делала своей старшей родственнице внушения о бережливости и об умеренности расходов, не подавая, однако, сама тому примера. Однажды Елизавета под напором кредиторов вынуждена была обратиться к правительнице с просьбою заплатить за неё тридцать две тысячи рублей долгу. Анна Леопольдовна не отказала ей в этом, но чрезвычайно обидела её, потребовав представления подлинных счетов. При проверке же их оказалось, что они не сходятся с той суммой, о которой заявила сама Елизавета. Долги цесаревны хотя и заплатили, но дело это не обошлось без замечаний со стороны правительницы, сильно раздражавших цесаревну и давших ей новый случай почувствовать всю тягость своей зависимости от другой женщины, и она ещё заботливее стала думать о том, чтобы поскорее выйти из такого положения.

⁸⁷ Алексей Григорьевич Разумовский (1709—1771) – граф, государственный и военный деятель. Свою деятельность при императорском дворе начал певчим; затем – фаворит, а с 1742 г. – муж Елизаветы Петровны.

XXVI

Дом графа Андрея Ивановича Остермана был в своё время одним из самых заметных домов в Петербурге по своей архитектуре и по своей величине. Он был каменный, двухэтажный, не считая при этом подвальной постройки. На главном фасаде в двенадцать окон был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами, и такие же два окна были на фронтоне, устроенном над выступом. Над домом была высокая в два отдельных ската черепичная крыша; от парадного подъезда, выходившего на улицу, шли две широкие лестницы по обе стороны от дверей в виде больших полукругов. Внутренность этого графского жилища не соответствовала, впрочем, внешней его представительности. Манштейн в «Записках» своих сообщает, что образ жизни графа Андрея Ивановича был чрезвычайно странен: он был неопрятнее и русских, и поляков; комнаты его были меблированы очень плохо, и слуги были одеты обыкновенно как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, а хорошие кушанья подавались у него только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение.

В таком наряде, с большим зелёным тафтяным зонтиком на глазах, сидел у себя в кабинете Остерман, когда его камердинер-оборванец доложил, что приехала баронесса.

Остерман поморщился, но приказал просить гостью в кабинет. Хотя муж баронессы, бывший главным начальником по горной части, и находился в самых добрых отношениях к Остерману, но этот последний сильно недолюбливал его супругу, опасаясь её как болтливую женщину, умевшую притом выведывать чужие тайны и чужие мысли, и вдобавок к этому он боялся её, как страшную интриганку⁸⁸. В кабинет Остермана вошла средних лет красивая женщина, стройная, с надменным взглядом, с горделивой поступью. В один миг она оглядела кабинет графа.

– Очень рад вас видеть, баронесса, – приветствовал притворщик-хозяин вошедшую к нему даму. – Вы, вероятно, изволили пожаловать ко мне по делу вашего супруга, но, к сожалению, я пока ничего ещё не мог учинить в его пользу; надобно, впрочем, полагать, что все взводимые на его превосходительство обвинения окажутся злостной клеветой, я в том уверен, и вам следует успокоиться...

– И не беспокоить других, думаете вы про себя, граф, но только из вежливости не говорите мне этого... На дело моего мужа я, впрочем, махнула рукой – это пустяки, о которых не стоит и говорить. Я сама вполне уверена, что всё обойдётся благополучно, несмотря на все происки наших недоброжелателей, а потому и вас прошу несколько не беспокоиться насчёт барона. Не с просьбой я приехала к вам, а с предложением, за которое вам впоследствии придётся поблагодарить меня.

Вступительная речь баронессы крайне удивила министра. Муж её, пользовавшийся особым покровительством регента, после его падения был отдан под суд за злоупотребления, взяточничество, вымогательство и казнокрадство, и, по-видимому, ему угрожала большая беда, почему жена его ещё недавно и хлопотала за него самым деятельным образом у всемогущего Остермана.

– Я посетила вас, – добавила баронесса, – по чрезвычайно важному делу.

Министр наострил уши и в то же время как-то боязливо съёжился на своём широком кресле, предчувствуя что-то недоброе.

– Знаете, баронесса, – проговорил он, запинаясь и надвигая на лицо зонтик, – относительно чрезвычайно важных дел я человек очень мнительный.

⁸⁸ Шетарди отзываясь о баронессе Шенберг как об искусной интриганке. (Примечание автора).

– Знаю, и даже как нельзя лучше знаю это... – перебила баронесса.

– Я боюсь... – заговорил Остерман.

– Бойтесь, вероятно, моей болтливости? И прекрасно делаете!.. Но если уж я хоть раз побеседовала с вами наедине, как теперь, то боязнь ваша не принесёт вам решительно никакой пользы. Разве я после этого не могу, если только пожелаю, рассказывать всем и каждому о моей с вами беседе так, как мне будет угодно? Если, например, вы в настоящем случае откажете мне не только в вашем содействии, но даже в ваших разумных советах и полезных наставлениях, то тем не менее я буду иметь возможность рассказывать всему городу, что вы мне внушили то-то и то-то, – говорила баронесса с беззастенчивостью, переходившей в наглость. – Я же вам вот что скажу... – При этих словах она с креслом придвинулась ещё ближе к Остерману, только пожимавшему плечами, и таинственным шёпотом сказала ему под самое ухо:

– Я хочу женить графа Линара⁸⁹...

– Но ведь её императорское высочество... – вздрогнув, сболтнул нехотя всегда осторожный Остерман.

– Да разве её императорское высочество тут при чём – nibудь? – строго спросила баронесса.

– Вы мне не дали договорить, милостивая государыня. Я хотел сказать, – начал вывёртываться Остерман, – что вы, вероятно, выберёте графу невесту из фрейлин, а потому, конечно, от воли её императорского высочества будет зависеть...

– Нет, вы не то мне хотели сказать, – отрезала баронесса, – и это было видно по выражению вашего лица. Не думайте, чтобы вы могли закрыться от меня вашим зонтиком. Я нарочно ближе подседа к вам, да и к чему такая прикрытие между друзьями?.. – С этими словами баронесса быстро сдёрнула зонтик с головы Остермана и бросила его на стол.

– Но, помилуйте, у меня глаза болят, я не могу смотреть на свет, – бормотал жалобно Остерман, пытаясь, не привставая с кресел, достать со стола зонтик, который бесцеремонная гостья при этой попытке отодвинула подальше.

– Будьте вполне откровенны со мной, граф; ведь мы отлично понимаем друг друга, и потому я повторяю вам, что я, по моим соображениям, хочу женить графа Линара...

– На ком же, однако, позвольте спросить? – проговорил смущённым голосом Остерман.

– На одной из девиц фон Менгден.

– На которой же из них: на Юлиане, Якобине или Авроре?..⁹⁰

– Угадайте.

– Думается мне, что если вы действительно собираетесь устроить эту свадьбу, то выбор ваш никак не может пасть на Юлиану, её высочество привязана к ней до такой степени, что не захочет ни за что расстаться с ней, а между тем неизвестно, долго ли граф Линар останется в Петербурге. Да и признаться, я что-то не понимаю, зачем вы затеяли это сватовство...

– О, при этом я руководствовалась очень многими, не только моими личными, но даже и государственными соображениями...

– Даже и государственными соображениями?.. Гм, – прошамкал с расстановкой Остерман, вынимая из кармана своего камзола большую золотую табакерку и принимаясь медленно нюхать. – Желательно было бы, однако, узнать их...

– Вы и узнаете в своё время, а теперь скажите только: будете ли вы мне содействовать в моём намерении, а я со своей стороны могу прибавить, что брак этот отлично устроил бы и вас, и меня с моим мужем.

– Но её высочество, её высочество... – тревожно бормотал Остерман.

⁸⁹ Шетарди приписывает баронессе Шенберг почин по сватовству Линара. (Примечание автора).

⁹⁰ Речь идёт о сёстрах Менгден. Юлиана станет женой Линара, Якобина готовилась выйти замуж за Густава Бирона, Аврора впоследствии станет графиней Лесток.

– Опять её высочество! – вскрикнула баронесса, грозно взглянув на старика, – так знайте же, что её высочество была бы чрезвычайно довольна женитьбой графа Линара...

При этих словах Остермана с головы до ног обдало жаром. Ему представилось, не сделалось ли около правительницы чего-нибудь такого, о чём он не успел ещё проведать. Он подумал, не охладела ли привязанность её к Линару, а поэтому и не желает ли она привести дело к развязке его женитьбой. Остерман встревожился при мысли, не был ли он слишком внимателен и предупредителен к покидаемому теперь правительницей любимцу и старался припомнить малейшие подробности своих последних с ним встреч у Анны Леопольдовны.

– Позвольте, однако, – спросил он, оправляясь несколько от смущения, – вы изволили высказать предположение о женитьбе графа Линара на одной из девиц фон Менгден, но на которой же именно?

– На Юлиане...

– На Юлиане? – вскрикнул Остерман, окончательно озадаченный этими словами.

– Да, на Юлиане, – преспокойным тоном ответила баронесса. – По моим соображениям, если граф Линар должен жениться, так именно на ней, а жениться он непременно должен.

– Признаюсь, я ничего не понимаю, – сказал Остерман, в недоумении разводя руками.

– И ничего нет мудрёного; вы сидите дома и не знаете ничего, что делается. Вас считают человеком чрезвычайно проникательным, – с едкой насмешливостью продолжала баронесса, – а по моему мнению, выходит вовсе не то. Вы, например, когда уже весь город узнал о принятии принцессой правления, не знали ровно ничего... Какой вы министр! Если бы я имела власть, то завтра же уволила бы вас от должности.

Остерман чувствовал себя подавленным и уничтоженным. Он стал откашливаться, поправляя парик, и бормотал что-то себе под нос, а между тем развязная гостья смотрела на него в упор смелым беспощадным взглядом.

– Позвольте мне, глубоко чтимая мною баронесса, – начал жалобным голосом пристыженный министр, – несколько подумать и сообразить по делу, о котором вам, не знаю, почему именно, благоугодно было сообщить мне. Высоко, как нельзя более, ценю оказанное мне вами слишком лестное доверие и могу уверить вас, что я во всякое время почту за особенное для себя счастье быть у ног ваших всепокорнейшим слугою, с чувством наиглубочайшего моего к вам высокопочитания...

– Оставьте, граф, подобные приторные фразы, я им очень мало верю, – перебила баронесса, махнув рукой.

– Конечно, вы совершенно справедливо изволили заметить, что в обстоятельствах, о которых мы теперь рассуждаем, не может идти вовсе речь об её императорском высочестве. Они действительно касаются одного только графа Линара и избираемой вами для него невесты, кто бы она ни была. Дело в том, однако, что во всяком случае женить в Петербурге иностранного посла и притом такого влиятельного, каким в дипломатических кружках считается граф Линар, можно только подумавши, и подумавши хорошенько. Женитьбой его мы легко можем обнаружить ту импессию, которую имел наш двор на него, а обстоятельство сие вызывает недоразумения и различные подозрения со стороны европейских кабинетов. Притом, – продолжал внушительно Остерман, – вы сами изволили высказать, что при предполагаемом вами браке вы благоволили руководствоваться не только вашими личными, но даже и государственными соображениями. Как же ввиду всего этого не подумать и не сообразить каждому министру, в особенности же такому, которого начинают подозревать в проникательности?

– Перестаньте петь эту скучную песню, мой милейший граф, – сказала самым фамильярным тоном баронесса. Она встала с кресел и, дружески трепля Остермана по плечу левой рукой, правой напялила на его голову зонтик. – Теперь вы можете сидеть в этой полумаске. Вы сами не хотели привстать и взять её, чтобы я не разболтала потом, что ваше здоровье настолько

хорошо, что вы в состоянии ходить. Для вас это было бы не совсем удобно, потому что теперь наступает такая пора, когда вам, по принятым вами правилам, следует притворяться...

– Какая пора?.. – широко раскрыв глаза, спросил Остерман.

– Пора, когда отношения между правительницей и графом Линаром...

– Т-с... ради Бога, тише; подумайте, что вы говорите?.. – шептал умоляющим голосом Остерман.

Не обращая никакого внимания на это предостережение, баронесса продолжала:

– ...заставят вас на время заболеть жестоко, съездив, впрочем, предварительно во дворец, чтобы провести там что-нибудь; но могу заранее уверить вас, что вы там ровно ничего не узнаете, всё содержит в непроницаемой тайне; а не правда ли, как желательно было бы узнать такую тайну? – поддразнивала баронесса растерявшегося Остермана.

– Я вовсе не так любопытен, как вы, быть может, предполагаете, – холодно заметил оскорбившийся этим подтруниванием министр. – Я сегодня же должен был бы ехать во дворец, несмотря на мою болезнь, по особенно важным докладам, но не поеду, а если бы и поехал туда, то о деле, о котором вы изволили мне передавать, я не решился бы заговорить уже по одному тому, что я никогда не мешаюсь ни в какие амурезные дела.

– Вы-то не мешаетесь в такие дела?.. Ха, ха, ха!.. А кто же, позвольте спросить, ваше сиятельство, надоумил бывшего регента вызвать сюда графа Линара?.. Разве тут был вопрос о государственных, а не об амурезных, как вы называете, делах? А?..

У Остермана заняло дух, и он замотал головой, как будто ему поднесли под нос что-то сильно одуряющее.

– Я должен уверить вас, что в вызове графа Линара я не принимал никакого участия, – отрезал решительным голосом лживый старик. – Тут были особые политические соображения регента, для вас, я полагаю, вовсе неизвестные.

– Не отнекивайтесь, милейший граф; если дело пойдёт на спор, то я докажу вам всё, что вы проделали в этом случае. Я знаю, вы говорите часто, что я такая женщина, которая рассказывает то, чего вовсе не было, то есть что я сплетница. Я же в свою очередь буду говорить о вас, что вы такой мужчина, который уверяет, что не делал того, что им было сделано, то есть что он... Как вы думаете, что лучше?.. Положим, впрочем, что это ошибочно, – что вы действительно не участвовали в вызове графа Линара в Петербург, но теперь и дело идёт не об этом, а только о женитьбе его на Юлиане. Что вы, собственно, на это скажете? Как отзовётесь вы по поводу этого предположения, если бы её высочество, продолжая и теперь, как это было прежде (баронесса нарочно подчеркнула эти слова), достаивать вас своим доверием, спросила вас что-нибудь о браке графа Линара?..

– Позвольте, многоуважаемая баронесса, подумать и посообразить; я имел честь объяснить вам, что это вопрос дипломатического свойства, а потому и крайне щекотливый.

– Хорошо! Я даю вам срок до завтра, а вы уведомяте меня, когда я могу быть у вас для решительных и окончательных объяснений. Прощайте, граф!.. – и она, встав с кресла, протянула свою руку к губам Остермана, которую тот поцеловал, а баронесса милостиво погладила его по голове.

Остерман выразил сожаление, что он сегодня так слаб, что лишён удовольствия проводить столь дорогую гостью хотя бы до дверей своего кабинета, а сам в душе радовался, что наконец он отделался от этой ужасной посетительницы, язык которой казался ему страшнее змеиного жала и которая обходилась с ним так бесцеремонно, как будто забывала, что он старик, сановник и министр.

– Не беспокойтесь, дорогой мой друг, провожать меня, – проговорила баронесса.

Она медленно подошла к дверям и, выходя из кабинета, обернулась к Остерману.

– Прощайте ещё раз! Будьте здоровы; не притворяйтесь, когда в этом нет особенной надобности, и верьте, что во многих случаях самый умный министр может быть менее даль-

новиден, чем иная самая обыкновенная женщина... До приятного и скорого свидания, то есть до завтра.

XXVII

Беседа с баронессой Шенберг сильно озадачила Остермана. Хотя он вообще и не удивлялся бойкости этой хорошо ему известной дамы, но никогда ещё не замечал он, чтобы развязность и бесцеремонность её доходила до такой крайней степени, как это было во время последнего её посещения.

– Что бы это значило? – думал Остерман. – Откуда теперь подул ветер? А ведь что-нибудь особенное да есть. Ещё так недавно она хлопотала у меня о своём муже, дрожала за его участь, вздыхала и плакала, а теперь прямо говорит, что махнула на его дело рукой, и не только не просит моего покровительства, как прежде, но даже отказывается принять его по моему предложению. Уж не ослабела ли моя «инфлуенция» у правительницы? – с ужасом помыслил министр. – По всему видно, что около неё баронесса нашла для себя другую надёжную опору и теперь пренебрегает моим заступничеством за своего мужа. Я очень хорошо знаю, что ещё недавно правительница крайне недолюбливала её и весьма неохотно допускала её в своё общество.

В таких тревожных размышлениях застал Остермана его шурин, Василий Иванович Стрешнев, толкавшийся и разъезжавший всюду для собирания свежих новостей своему зятю.

– Ну, Андрей Иванович, новость важная, – сказал он, поздоровавшись с министром. – Шенбергша входит к правительнице в милость. От камер-фурьера Кочнева узнал я сегодня, что ей приказано посылать приглашения по средам на обеды, а по воскресеньям на вечерние собрания у правительницы. Прежде этого не бывало.

– Точно, что не бывало, и правительница всегда держала её от себя очень далеко и принимала не иначе как только по особому разрешению, даваемому ей через гофмаршала. Ну, а ещё что нового? – порывисто спросил Остерман.

– Говорят ещё, что дела Шенберга замнут по желанию правительницы, а ему в награду за напрасное обвинение пошлётся александровская лента, – скороговоркой сообщал Стрешнев, а между тем его собеседник пожимал плечами.

– А что же слышно о свадьбе?.. – спросил министр.

– Кого с кем?

– О свадьбе графа Линара с Юлианой Менгден, – отвечал Остерман своему удивлённому шурину и затем рассказал ему о посещении Шенберг и о её беседе.

– Пожалуй, что-нибудь эта разбитная баба Шенбергша и придумает. В последнее время Линар что-то особенно стал внимателен к ней, да и, верно, не кто иной, как он расположил правительницу в её пользу. Он же, конечно, помогает и барону покончить благополучно его делишки, за которые ему нелегко было бы рассчитаться. Надобно будет поразнюхать. Да к чему, впрочем, устраивать этот брак? – добавил Стрешнев.

– Как к чему? Тут есть очень тонкий расчёт. Долго думал я об этом и, наконец, напал на верную мысль. Теперь начинают поговаривать о близости Линара к правительнице, а в войске, как ты мне сам передавал, слышится громкий ропот по этому поводу. Если же Линара женят, то всё это получит иной вид. Заговорят, что если Линар почти безвыходно сидел у правительницы, так потому только, что ухаживал за неразлучной её подругой. После свадьбы супруги останутся жить во дворце под тем же благовидным предлогом, что её высочество не в силах расстаться с Юлианой; на Линара, как на человека женатого, не станет падать никакого подозрения, и таким образом неприятная, а, пожалуй, даже и опасная для правительницы болтовня мало-помалу прекратится... Понимаешь?

– Пожалуй, что так, – согласился Стрешнев. – А знаешь, не худо бы тебе, под каким-нибудь предлогом, съездить самому к правительнице. Может быть, что-нибудь и поразведает. Смотри, Андрей Иваныч, не опростовололся как-нибудь, чего доброго, опять дашь

зевка... Обрати также внимание и на цесаревну; сильно поговаривают, что она затевает что-то и частенько видится с маркизом Шетардием.

Расставшись со своим верным и ревностным соглядатаем, Остерман принялся копешиться в лежавших перед ним на столе бумагах. Он думал о том, как бы придать некоторым из них чрезвычайную, неотложную важность и, ссылаясь на необходимость спешного к ним доклада, явиться невзначай к правительнице под этим предлогом. Остерману не трудно было сделать это, так как он умел отлично вздуть значение каждого дела теми туманными и велеречивыми фразами, которые, в случае надобности, пускал в ход. Недаром же отзывался о нём один живший в Петербурге иностранный дипломат, что с ним можно было беседовать по какому угодно делу два битых часа сряду и всё-таки не узнать, что по поводу его хотел высказать Остерман. Перечитав несколько бумаг и потеряв несколько раз нахмуренный лоб, министр приказал заложить карету, и спустя немного времени он был привезён ко дворцу, а затем и принесён в креслах в кабинет правительницы.

– Ах, Андрей Иванович, ты опять с бумагами!.. – проговорила с недовольным видом правительница, входя в кабинет и держа в руках детское платьице. – Тебя-то я, впрочем, всегда очень рада видеть, а бумаги твои мне порядком надоели. Вот, посмотри, какое красивое платьице я шью моему Иванушке. Маркиз Шетарди не довольствуется переговорами со мной и непременно требует торжественной аудиенции у самого императора; приходится уступить ему. Вот забавная-то будет аудиенция! Послушаем, как они разговариваются... Ох уж мне эти придворные этикетки да государственные дела... скоро ли дождусь я того времени, когда вырастет мой сынишка и сам начнёт править царством, а я буду жить как хоч⁹¹.

– Но, ваше императорское высочество, – заметил почтительно Остерман, – при настоящих оказиях вам необходимо надлежит постановить некоторые резолюции.

– Хорошо, хорошо, только ты, Андрей Иванович, посмотри прежде это платьице. Иванушка явится в нём на аудиенцию. Не правда ли, как оно хорошо? Вот здесь обошьётся оборочкой, а тут пойдут кружевные прошивки, на этом месте будет бантик, – говорила правительница, поднося своё шитьё к лицу Остермана, который поневоле должен был разделять удовольствие молодой матери, так заботливо думавшей о наряде своего малютки.

– Притом, ваше императорское высочество, насчёт цесаревны, – начал министр, отделавшийся наконец от неподходящего к его обязанностям занятия.

– Опять, Андрей Иванович, ты с Лизой, да что она тебе делает? – с выражением упрёка возразила правительница.

– Мне её высочество ничего дурного не делает, а высочайшей вашей фамилии, вам, высокопovelительная государыня, и всему российскому отечеству цесаревна намеревается учинить злокозненные факции...

– Ты да мой муж всегда пристаёте ко мне, чтобы я или выдала её насильно замуж, или посадила бы её поскорее в монастырь, но я ни того, ни другого не сделаю. Оставьте Лизу в покое. Я на этих днях была у неё, всё объяснилось между нами, и мы теперь дружим по-прежнему. Так бы и всегда было, да на беду нас злые люди ссорить хотят. Говорю я это, впрочем, не о тебе, Андрей Иванович, так как я знаю очень хорошо, что все твои советы идут от доброго сердца, – окончила ласковым голосом правительница.

– Позволю себе сказать, что каждое слово произношу я перед вашим императорским высочеством по душевной моей чистоте, по рабской моей преданности к высочайшей особе вашей, предоставляя затем действовать вам так, как сие благоугодно будет соизволить...

Проговорив это, Остерман принялся вынимать бумаги из своего портфеля, внушавшего правительнице своим объёмом опасение, что в нём слишком много запаса для доклада и объяснений.

⁹¹ Подлинные слова Анны. (Примечание автора).

Доклад, однако, кончился скоро. Правительница слушала рассеянно объяснения своего министра: она в это время шила сыну платье, и иголка быстро двигалась в её руке, и несколько раз Анна Леопольдовна, не обращая внимания на сановного докладчика, раскладывала перед ним свою работу на его бумаги и расправляла её на них, чтобы посмотреть, верно ли она ведёт к прошивке строчку. Такое невнимание сильно смущало Остермана. Но так как правительница подписала все доклады безоговорочно, не сделав никаких возражений и замечаний, то Остерман успокоился, убедившись, что кредит его не поколебался нисколько.

– Кажется, что дела наши с иностранными кабинетами устроились как нельзя лучше, – сказала с довольным видом правительница по окончании доклада.

– В сём случае особую пользительность для российского отечества оказывает наш альянс с венским кабинетом, заключённый по великодушной мысли вашего императорского высочества, – льстиво подхватил Остерман.

– А не правда ли, – с живостью спросила правительница, – что мы этим альянсом обязаны графу Линару?

– Сие безусловно утверждать не могу. Наперёд этого совершение одного альянса произошло по премудрости вашего императорского высочества; граф Линар точно что оказал в сём случае превеликий сикурс, да и вообще надлежит признать, что его сиятельство – персона крайне полезная для поддержания российских интересов и различных наших авантажей при иностранных дворах. Сожалеть можно только о том, что мы во всякую пору можем лишиться его содействия, – проговорил с опечаленным видом Остерман.

– Это каким образом? – встрепенувшись, спросила правительница.

– Граф Линар не состоит в российской службе, и посему польско-саксонский кабинет во всякую пору может отозвать его из Петербурга, да и он, как персона здесь всем чуждая и ничем не привязанная, может сам пожелать удалиться отсюда.

– Мне было бы крайне жаль, если бы это случилось, – со смущением заговорила правительница, – я только что начала привыкать к нему, полюбила толковать с ним о делах, конечно, для того только, чтобы всё мной от него слышанное передать потом на твоё рассмотрение, так как ты, Андрей Иванович, очень хорошо знаешь, что я, не посоветовавшись с тобой, никогда ничего не делаю.

При этих милостивых словах Остерман умилился, и слёзы признательности, конечно, притворные, выступили на его глазах. Правительница заметила это и взглядом, полным ласки, посмотрела на него.

– Вообрази, Андрей Иванович, – начала она, – мне никогда не приходило в голову, что граф Линар может уехать от нас. Мне казалось, что он останется у нас вечно... – и дрожащий голос, с которым сказаны были последние слова, выдавал грустную мысль, мелькнувшую теперь в голове молодой женщины. – Ты сам говоришь, что он нам так полезен по государственным делам, да и по правде скажу тебе, как моему старому другу, что мне без него будет очень скучно... Ты человек находчивый и умный, посоветуй же, как бы устроить, чтобы Линар никогда не уехал от нас...

– Женить его здесь, – брякнул решительным тоном министр.

Правительница вспыхнула: она почувствовала, что вся кровь бросилась ей в лицо, ударила в виски, и точно множество самых тонких игл закололо ей глаза, к которым подступили жгучие слёзы.

– Ах, как здесь сегодня жарко!.. – тихо проговорила она, обмахивая и закрывая платком зардевшееся румянцем лицо.

– Очень жарко, ваше высочество... Я чуть было не задохся от жары, только не дерзнул заметить сего перед вами, – проговорил Остерман, только что перед тем думавший о том, что в кабинете правительницы слишком свежо, и опасавшийся, чтобы вследствие этого не схватить простуды. – Вы, ваше императорское высочество, слишком ещё молоды, вас греет кровь. Вот

нам, старикам, так тепло идёт в пользу, а особе вашего юного возраста оно может быть вредно, от сего кровяные приливы случаются...

– Вот и я теперь что-то нехорошо себя почувствовала... Посмотри, как я вдруг вся покраснелась, – добавила она, показывая Остерману на свои щёки, горевшие ярким румянцем.

Выведа таким образом правительницу из сильного смущения, Остерман продолжал:

– Блаженной и вечно достойной памяти дед вашего императорского высочества, император Пётр Алексеевич меня таким образом навеки в «российском отечестве» устроил. Возвысив и благодетельствовав меня своими высочайшими щедротами, он однажды соизволил сказать мне: «Пора тебе, Андрей Иваныч, перестать быть немцем; ты теперь здесь, у меня, всё имеешь: и чины, и почёт, и богатство, и доверие моё полное успел заслужить, не вздумай только улизнуть от меня; а чтобы у тебя и в мыслях сего не было, так я женю тебя здесь», и затем соблаговолил сосватать мне настоящую мою супругу Марфу Ивановну из славного рода бояр Стрешневых. После сего я, конечно, отселе никуда и ни за что не уеду. – Проговорив это, Остерман, однако, сильно поморщился при невольном воспоминании обо всём, что доставалось ему от злой и привередливой Марфы Ивановны.

Неожиданное предположение, высказанное Остерманом, сильно взволновало правительницу. Остерман смекнул, однако, что он не совсем напрасно похитил мысль баронессы о женитьбе Линара, но только жалел, что поверил словам её, будто эта женитьба будет приятна правительнице. Впрочем, такая частная ошибка не особенно смущала его ввиду того, что правительница не выразила прямо несогласия на брак, не стала противоречить этому предположению, но только сперва встревожилась, а потом глубоко призадумалась, но и то и другое было вполне естественно при таком щекотливом для неё вопросе. Опустившись в кресла и слушая рассказ о женитьбе Остермана, она видела в этом рассказе разницу, не применяемую к настоящему делу. Её поразила мысль, что Линар может любить другую женщину, что он сделается привязанным, преданным другом своей жены, которая станет господствовать над его сердцем. Но Анна Леопольдовна как будто опомнилась и, пересиливая волнение, равнодушно и даже как будто шутя спросила своего собеседника:

– А на ком же мы женим графа Линара?

– На баронессе Юлиане фон Менгден, – отвечал Остерман.

Анна Леопольдовна вздрогнула.

В это время дверь кабинета растворилась и в неё, словно птичка, впорхнула Юлиана. Она сделала наскоро реверанс Остерману и кинулась, чтобы поздороваться с правительницей и поцеловать её. Но Анна встретила теперь свою подругу гневным взглядом: она увидела в молодой девушке свою соперницу. Не привыкшая к такой встрече пригожая смуглянка остановилась в недоумении точно вкопанная.

– Оставь меня на некоторое время с графом, – холодно проговорила ей правительница, и Юлиане не оставалось ничего более, как исполнить немедленно полученное ею приказание.

XXVIII

Закрывая лицо платком и громко рыдая, вернулась Юлиана в свою уборную, отделённую лишь несколькими комнатами от кабинета правительницы.

– Что? что такое случилось с вами? – с удивлением и с участием спрашивала Юлиану бывшая у неё в это время в гостях баронесса Шенберг.

Юлиана, отняв от глаз платок, стоя посреди комнаты, печально взглянула на гостью. Хорошенькая девушка, за несколько минут весёлая и живая, теперь нервно вздрагивала. Она в своём разноцветном наряде, с понуренною головкой и с опущенными вниз руками походила теперь на пёструю бабочку, которая с надломленными крылышками бьётся и трепещет на одном месте, чувствуя, что у неё нет уже прежней силы для быстрого и игривого полёта.

– Что же случилось?.. Скажите, Бога ради... – приставала баронесса.

– Она меня оскорбила, она прогнала меня от себя... – проговорила прерывистым голосом Юлиана. Слезы стали душить её, она задыхалась и, чувствуя необходимость вздохнуть свободнее, судорожно отдёргивала рукой от груди корсет, стеснявший её дыхание; баронесса старалась удержать и успокоить её, говоря:

– Разве вы успели уже рассказать ей то, о чём я беседовала с вами сейчас? Но ведь я с вами болтала об этом только в виде пустого предположения, не более как в шутку?..

– Нет, я не успела сказать, но сказала бы непременно всё, у меня нет от неё никаких тайн... я так люблю её... я люблю её до безумия, – проговорила Юлиана, хватаясь руками за голову.

– Какая сентиментальность! – процедила сквозь зубы в сторону баронесса так тихо, что Юлиана не могла расслышать, и затем, обратившись прямо к ней, начала:

– Да ведь её высочество точно тем же платит вам. Послушайте только, что говорят в городе. Кому неизвестно, что вы можете сделать у правительницы всё, что захотите, стоит вам только сказать одно слово, и правительница...

– Не нужно мне ни власти, ни влияния, – вскрикнула Юлиана, затопав ножками в припадке сильного раздражения. – Высокое её положение только тяготит меня, потому что она каждую минуту из дорогой для меня подруги может превратиться в надменную повелительницу...

– Успокойтесь, всё объяснится... вы – девушка и должны, конечно, знать неровность нашего женского характера. Правительница, наверно, была чем-нибудь огорчена или рассержена, надобно быть снисходительной к её исключительному положению, у неё, наверно, есть такие заботы и тревоги, о которых мы с вами, обыкновенные женщины, не имеем даже никакого понятия. Не забывайте, что она на каждом шагу встречает затруднения и неудовольствия, что она правит империей, – внушала баронесса Юлиане, обнимая и целуя её в голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.